

АЛЕКСЕЙ К. СМИРНОВ

Лента Мри

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



Алексей Смирнов

Лента Мгу.

Фантастические повести

«Издательские решения»

Смирнов А. К.

Лента Мгу. Фантастические повести / А. К. Смирнов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-740366-9

Четыре повести о диких экспериментах в Сухумском питомнике,
о похоронном поезде среди необъяснимого мора, о детективных событиях
в Центре Психологического Роста и о бездумном противостоянии добра и зла
под замершим солнцем.

ISBN 978-5-44-740366-9

© Смирнов А. К.
© Издательские решения

Содержание

Правое полушарие	6
Часть первая. Сухая лоза	7
1	7
2	9
3	10
4	12
5	13
6	15
7	17
8	18
9	20
10	22
11	24
12	25
13	27
14	29
15	30
16	32
Часть вторая. Виноградник	35
1	35
2	37
3	39
4	41
5	43
6	45
7	47
8	48
9	50
10	52
11	53
12	56
13	58
14	59
15	61
Часть третья. Номо judicaturus	64
1	64
2	65
3	68
4	70
5	71
6	73
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Лента Мгу

Фантастические повести

Алексей Константинович Смирнов

© Алексей Константинович Смирнов, 2017

ISBN 978-5-4474-0366-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Правое полушарие

Поверяя историю зонами, не довольствуясь мотыльковым веком, мы можем уподобить ее сонму текучих образов, движение которых обнаруживается лишь с высоты полета археоптерикса. Она сродни масляному пятну, растекающемуся на поверхности бездонной мутной лужи. То, что нам, по причине наших карликовых размеров и недолголетия, представляется необъяснимым, едва ли не чудесным историческим поворотом, переменившим ход событий к нашей пользе, оборачивается внезапным отклонением радужной ложноножки от наиболее вероятного курса по прихоти случайной зыби – что лишь ненадолго отсрочивает окончательное замыкание пятна в более или менее округлых границах. То, что пока не случилось, рано или поздно произойдет под тем или иным видом. Мелкое завихрение вокруг брошенной спички – и вот уже восстановлен порядок, предрешенный свойствами несочетаемых жидкостей. Но мы упрямы в отстаивании права менять и преобразовывать. Мы рассуждаем: мир изменится от праздного мановения руки, ибо прежде этого мановения не было. Приятно влиять на вселенную. Бывает, что для запуска необратимых метаморфоз действительности недостает микроскопического движения толстовской лопаты. К сожалению, тончайший механизм такого влияния не удастся выяснить из-за несоразмерности причины и следствия.

Возможность любого события во Вселенной близка к нулю, но в то же время, если исходить из ее бесконечности, равняется ста процентам. В обоих случаях уместно говорить о чуде; тем большим чудом оказывается одновременная правильность того и другого. Чудо – событие, стоящее над теорией вероятностей, но реализованное как посредством причинно-следственной связи, так, возможно, и без участия последней. Резонно спросить: какими же, в таком случае, событиями оперирует теория вероятностей, если каждое событие – чудо? Ответ: никакими и в то же время существует по праву, являя очередное чудо. На самом деле ничего нет, как нет горизонта.

...Бог, как и автор, не сочувствует человеку, Он испытывает некую иную эмоцию. Для него все происходящее – понарошку, так как Он сам это и выдумал. Отчаявшееся творение вынуждено ожить, чтобы выжить.

Все, выше сказанное, не важно и не относится к делу.

Любое совпадение с именами ныне здравствующих людей случайно.

Вольное обращение с историческими фигурами и событиями неизбежно и второстепенно, ибо ничем не грешит против сути.

Часть первая. Сухая лоза

1

– Сколько вам лет, Яйтер?

Лестное недоумение.

– Шестьдесят восемь.

Лестное изумление.

– Но как же? Вам никто не даст больше сорока!

Яйтер смутно чувствует, что заблуждение собеседника должно укрепить его самомнение. Этого не происходит по двум причинам. Во-первых, диалог приелся. За два-то десятилетия. Люди не верят глазам и сомневаются в достоверности зрительных впечатлений. Во-вторых, его неповоротливый разум не вдается в нюансы и оттенки.

Лепила вертит бумажку.

– У вас необычная спермограмма.

Опять необычная. История повторяется. Он слышал это много раз.

– Очень много сперматозоидов. Очень. Весьма нехарактерно для вашего возраста. И все живые. Но они не вполне обычные. Лаборатория пишет, что они деформированные, но это отписка. Я посмотрел лично: действительно, странные. Я даже не могу сформулировать, в чем отличие.

– Рогатые, что ли? – безнадежно острит Яйтер.

– Правильно, главное – не унывать, – кивает врач, огромный мужик, которому тесно под колпаком.

Они сидят друг против друга; оба громадные, кряжистые, сильно похожие. Яйтер, однако, гуще зарос. Шерсть выбивается в глубокий вырез футболки, нависает над кромкой плющом-бородой. Поверх футболки Яйтер носит камуфляжную куртку; штаны на нем тоже камуфляжные, широкие; он обут в огромные и грязные белые кроссовки. Наряд для зимы, наряд для лета, весны, осени. У Яйтера, когда он вразвалочку вышагивает по городу, никто и никогда не просит ни закурить, ни даже прикурить.

– Что с партнершей? – осторожно спрашивает врач. – Она обследовалась?

Яйтер машет рукой:

– Здоровая кобыла.

– Эх вы ее, – крикает доктор.

Яйтер машинально напевает, отбивая такт слоноподобной ножицей. Собеседник хмурится, обескураженный его поведением.

– У вас хороший слух, – замечает врач не то саркастически, не то с искренним одобрением.

Тот неожиданно расплывается в детской улыбке:

– Да. Мальцом я даже хотел в церковный хор. Чуть не взяли. Но потом передумали. Небось, рожей не вышел.

Яйтер не лукавит. Прослышав о таком хоре в детстве, по простоте своей он действительно пожелал в нем участвовать. И возмущенный отказ он отнес на счет своей рожи, не думая о тогдашней востребованности церковных песнопений.

Доктор кивает, озадаченный неуместным поворотом беседы.

– Я и рисую неплохо, – сообщает Яйтер.

– Довольно неожиданно, – вырывается у доктора. Он спохватывается, плотно сжимает губы, но Яйтер ничуть не обижен. Он возвращается к оставленной теме:

– Мне одно нужно знать. Будут у меня дети или нет?

Доктор честен:

– Не уверен. Во всяком случае, очень и очень сомневаюсь. Вы же не в первый раз обследуетесь?

Яйтер сгребает в кулак скрипучую и скользкую щетину, которой на вид – несколько дней, но возможно, что не исполнилось и суток.

– Не в первый, – вздыхает он.

Лепила соболезнает фальшивым молчанием. Яйтер называет его «лепилой» мысленно, автоматически. Внешность, немногословность и звериная аура притягивают к Яйтеру неприятных субъектов с лексиконом, для которого «лепила» – обычное и понятное слово. Неумело выбритый череп; лицо, заросшее от глубоко посаженных глаз; вывернутые губы, чуть заостренные волосатые уши, короткая шея, плоский нос – все эти ломброзианские черты ошибочно указывают на зловещую сущность Яйтера. Он, однако, не помнит за собой ничего преступного. Не особенно крепкий разумом, он следует в жизни путем, на котором встречи по одежке мало чем отличаются от проводов по уму. Самки, восхищенные столь явно выраженным мужским началом Яйтера – сплошные шалавы. Их не обследуешь, а Яйтеру отчаянно хочется иметь детей. Да и обследовать нечего – диагнозы написаны на лицах. Он думал, что ему повезло с Марианной: культурная женщина, пусть ветреная, вольного нрава. Зато без наколок. Зато согласилась на докторов – ей тоже наскучила мутная жизнь неразборчивой охотницы, она ищет покоя, она рассчитывает на мирный обустроенный быт. Марианна здорова, но Яйтер – нет. Он ничего не смыслит в необычных клетках и не старается понять; ему достаточно в десятый раз услышать, что с ним неладно. Перед каждым визитом к врачу Яйтер полон наивных надежд: а вдруг прошло? а вдруг они образумились, его бешеные клетки, подвижность которых, как ему говорили, невероятно высока. Яйтер считает, что, по результатам анализа, он мог бы оплодотворить слониху и даже слона; такое сопоставление не кажется ему ни глупым, ни даже индифферентным. Он мыслит буквально, и ему нет дела до межвидовых различий.

Однажды Яйтеру намекнули, что дело, возможно, в особенностях его генетического устройства и посоветовали обратиться к специалистам. Он осведомился: «А это лечится, если что-то не так?» Ему ответили, что конечно же нет, и он никуда не пошел, боясь за надежду.

– До свидания, – хрипит Яйтер.

Он косолапит по городу; он отвлекается от грустного, привычно досадуя на недостаток слов. Как описать шоколадный запах, долетающий до расплюснутых ноздрей Яйтера с кондитерской фабрики? Какие слова подобрать для тополиного пуха? Яйтеру никогда не хватало слов, но ущербность с лихвой окупалась тонкостью чувственного восприятия. Он плохо подбирал названия и эпитеты, зато великолепно разбирался в сложных ароматах, неплохо видел в темноте и слышал, поспешая домой, как в отдаленном подвале, отделенном от Яйтера двумя улицами и одним переулком, пищат распоясавшиеся мыши. Посвистывают чайники. Дышат домашние коты. И еще он замечал ненастоящих – за неимением лучшего определения. Как обычно. Они бродили то группами, то порознь. Яйтер знал их имена: Павел Андреевич, Наталья Осиповна, Виктор Николаевич, Александр Александрович.

«Ты не к тому доктору ходишь», – сказала ему Марианна, едва он заикнулся о ненастоящих.

Она была права – и не к тому, и вообще напрасно. Утром, когда он проснулся, ее половина пустовала, Марианна ушла. Еще до знакомства с бумажкой, где значились активные деформированные сперматозоиды, а после слова «деформированные» стоял знак вопроса, заключенный в скобки. Она догадалась, что с Яйтером быту не быть. Он и сам не знал, какого рожна потащился к доктору – наверное, захотел оправдать ее перед ней же, имея в руках документальное подтверждение собственной несостоятельности. Сам Яйтер никогда бы так не выразился, он просто встал, выпил молока, умываться не стал, оделся и отправился на прием.

...Прежде чем войти, Яйтер, распахнув дверь, задержался на площадке.
– Павел Андреевич? – позвал он нерешительно. – Заходите, не стойте.

Павел Андреевич закружился волчком, приседая и запрокидывая отчаянное, прозрачное лицо.

2

Яйтер выждал, пропуская вперед Павла Андреевича, превратившегося в небольшой смерч. Потом отвернулся, чтобы запереть дверь, а когда посмотрел снова, понял, что Павла Андреевича уже нет. В дальнем углу коридора пристроилась какая-то скорбная баба – тонкая, словно вырезанная из фанеры. И больше не было никого. Баба сидела на табурете, положив на колени руки. Яйтер, привыкший к таким вещам, не стал с ней здороваться и прошел в комнату, которую Марианна называла студией. Остановился перед незаконченным пейзажем, затем перевел взгляд на несколько готовых картин, составленных рядами и повернутых изображением к стенке.

Мебели в комнате не было.

– Эгей, – сказал Яйтер, и эхо ему ответило.

Огромная квартира досталась от репрессированных родителей. Яйтеру вернули все, и он воспринял это как должное, хотя подобная справедливость не лезла ни в какие ворота. Совсем невероятным казалось то, что она, справедливость, восторжествовала задолго до газетных разоблачений, в самый мороз, когда не пахло никакой оттепелью. Полицейский чин, занимавший квартиру до Яйтера, исчез. В гостиной висел портрет отца, выполненный акварелью: жилистый дядька в гимнастерке и фуражке, при высоких ромбах. От матери не осталось ничего. Яйтер вселился в квартиру еще подростком, во время войны, и сразу стал получать усиленный паек. Мало того – к нему ежедневно приходила домработница, на деле бывшая кем-то большим, специально приставленным к юному Яйтеру. Он плохо помнил как ее, так и все, происходившее с ним в отрочестве и ранней юности. О детстве он не помнил почти ничего. Иногда вспоминалась буйная зелень, деревянные изгороди, большие игрушки кричащих цветов – преимущественно шары, кегли и кубики. Оранжевая посуда, винегрет, апельсины. Деревянные счеты, исполинский букварь, патефон.

Теперь домработницы не было, зато исправно начислялась пенсия. «Особая пенсия, – подчеркнули в беседе. – Как потомку пострадавших от культа личности». И смотрели нехорошо. Яйтер не знал, что такой большой пенсии не было ни у кого.

Он присел на корточки, перебрал картины. Остановился на двух: Аларчин мост и Крюков канал. Поделки для туристов, живописный аналог блинов и матрешек. Дневной промысел. Вечером – настоящая балалайка: не довольствуясь живописью, Яйтер подрабатывал в стилизованном под русскую сказочную старину ресторане, выстроенном в виде аляповатого терема с вестибюлем-предбанником на курьих ногах. По вечерам Яйтер наряжался в красную шелковую рубаху, подпоясывался кушаком, менял кроссовки на сверкающие сапоги-бутылки. Таким он отлично сходил за угрюмого русского мужика, которого задержали за опасную внешность и, пригрозив Сибирью, заставили развлекать балалайкой агличан и ерманцев.

Держа по картине в руке, Яйтер выпрямился и увидел, как Павел Андреевич, вприпляску и подбоченья, наискосок пересек студию.

– Один пришел, – прошелестел Павел Андреевич. – Ему жарко.

– Что? – нахмурился Яйтер.

Павла Андреевича нигде не было, баба на табурете сменила позу, и Яйтер не заметил, когда.

Яйтера взяли в кольцо: Вера Васильевна, Дитер Ленц, Анна Дмитриевна, Ангел Павлинов, Мартин Догерти и Алексей Борисович. Они зашипели, надвинулись.

– Отвяжитесь, – Яйтер махнул рукой и выронил «Аларчин мост». Алексей Борисович отдернул ногу, потом отвел ее и ударил по раме. Ступня, заканчивавшаяся не пальцами и не носком туфли, а каким-то небрежным закруглением, прошла сквозь картину и взлетела на уровень глаз.

– Тяни, – приказал Дитер. Яйтер нисколько не удивился тому, что прекрасно понимает немецкую речь.

– Кого? – лоб Яйтера наморщился до предела, мучительно.

– Жаркого. Огненного. Тяни жаркого, он хочет.

– Я не понимаю, – признался тот.

Ответа не было, студия пустовала. Хоровод, баба, Павел Андреевич – пропали все.

Яйтер подумал о Марианне: ей приходилось нелегко в такой компании. Она почему-то не видела и не слышала всего того, что Яйтер улавливал автоматически, без малейшего напряжения природных датчиков. Зная за ней такую простительную и милую ущербность, в ее присутствии он старался не общаться с ненастоящими, но иногда забывался и отвечал на путаные, всегда малопонятные обращения, а то еще машинально уворачивался от столкновений, хотя не мог причинить ненастоящим никакого вреда.

Марианна была моложе Яйтера лет на тридцать, из ролевой категории «дочерей». Он особенно опечалился, видя следы ее прощальной заботы: аккуратно сложенные кисти, краски, тряпки; нотные книги, собранные в ровные стопки; старое пианино, протертое влажной салфеткой. Пустая мусорная корзина, котлеты в кастрюльке, сверкающий холодильник, вычищенная одежда, которую Яйтер почти никогда не носил – за исключением случаев, когда отдавал в стирку полюбившийся камуфляж. Хотя для таких дней у него все равно хранился запасной комплект.

Внимание, в котором, по мнению Марианны, нуждался Яйтер, показалось ей чрезмерным. Она устала следить за ним из страха, что Яйтер, увлекшись невразумительной беседой с ненастоящими, попадет под колеса.

Яйтер скомкал бумажку, где было написано про деформированные клетки; потом передумал: разгладил и разорвал на два десятка клочков. Приди он с хорошим ответом, он все равно не застал бы Марианну дома, не нашел бы ее за столом, сидящей, как ему рисовалось, в напряженном ожидании; не поцеловал бы в темя со словами «все нормально, будем стараться».

Завернув картины в дерюгу, Яйтер перевязал их шпагатом, прихватил с собой маленький складной стульчик и отправился торговать. Вдалеке гудели и галдели ненастоящие; их не было видно, и Яйтер шагал, не сбиваясь с курса, привычный к фоновому шуму.

3

Он давно облюбовал себе пятачок у Екатерининского садика. Основная толпа живописцев караулила покупателей чуть подальше, против Гостиного двора, и Яйтер туда не совался, ибо его отталкивающая внешность отпугивала состоятельных заморских зевак. Да и богатый выбор не оставлял ему шансов. При садике было потише. По слухам, там собирались гомосексуалисты, но Яйтер ни разу не видел ни одного. Те тоже не решались обратиться к звероподобному мужу, хотя наверняка томились по его ручищам и ножищам. Пятачок был мал, и Яйтеру приходилось жаться к ограде. Художники здесь почти не водились: торговали все больше бижутерией и матрешками.

Яйтера, не видя в нем конкурента, уважали. Он прибыл, когда день уже был в полном разгаре, но его постоянное место оставалось незанятым. Шатилов, специалист по расписным ложкам, приветствовал его радушным рукопожатием.

– У врача был, – пропыхтел Яйтер и развернул стульчик.

Карикатурист Баронов, скупавший неподалеку, обрадованно помахал рукой и, от нечего делать, стал набрасывать портрет Яйтера, на котором тот постепенно уподоблялся восточному демон-диву. Чуть больше волоса, чуть острее уши. Свиристость во взгляде, оскаленный рот, декоративные рожки. Прохожие замедляли шаг, переводили глаза с рисунка на Яйтера и обратно. Они уходили, немного довольные порицанием уродства.

Яйтер уселся, стульчик скрипнул. Перед ними кипел и дымился Невский проспект. Не только тот, кто имеет иностранный паспорт, чисто выбрит и носит удивительно сшитый костюм, но даже тот, у кого подбородок подобен низкому кирпичу, а голова щетинится, как у Яйтера, и тот в восторге от Невского проспекта. Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет каким-нибудь нужным, необходимым потреблением. Здесь единственное место, где горожане показываются по необходимости, куда загоняют их надобность и меркантильный интерес. Невский проспект давно не место всеобщей коммуникации Петербурга; рядовые горожане текут по нему, как по сверкающей водопроводной трубе, сменившей старую и ржавую; они не задерживаются, не оседают на блистательных стенах, выложенных галереями, бутиками, отелями и ресторанами. Им не за что, а главное, нечем зацепиться. Ноздри Яйтера парусили, обоняя машинный июль; глаза привычно скользили по балкончикам, лепным украшениям и рекламным плакатам. В сером от зноя небе повис заблудившийся воздушный шар. Ноготь реактивного самолета раздирал небеса, как оберточную бумагу, и лезла вата. Шпиль Адмиралтейства дрожал и ломался, уступая нестигаемому фаллическому собрату на бывшей Знаменской площади, в которого он смотрелся, как в кривое зеркало. Поджимались и пятились тени. Слова и целые фразы слипались, наслаивались поверх друг дружки: французское голубиное воркование мешалось с утробным шансоном, трудолюбиво бухтевшим из маршрутного такси; образовавшийся продукт покрывался ломтиками отечественных непристойных междометий, лакировался сытным англоязычным соусом, преобразуясь в быстрое и несъедобное питание для чуткого слуха. Яйтер сидел с широко расставленными ногами; его пальцы – неожиданно изящные, почти скрипичные – барабанили по коленям, меняя ритм и постоянно импровизируя, но не в силах угнаться за приглушенной разноголосицей. Ненастоящие проступали сполохами, то застывавшими ненадолго, то сразу взрывающимися; прохожие текли сквозь них, не замечая.

Город затравленно припадал к земле, раздавленный кастрюльной крышкой небес.

Перед Яйтером остановился пожилой иностранец – дочерна загорелый, морщинистый, в светлом костюме.

– Сколько? – осведомился приезжий.

Яйтер, не догадавшийся, к какому полотну из двух относился вопрос, наугад постучал по «Крюкову каналу». Он назвал цену.

– Нет, – иностранец замотал головой. С усилием подбирая слова, он ткнул пальцем в стульчик: – Вот это.

Баронов завистливо прислушивался.

– Шестьдесят баксов, – подсказал он.

– Шестьдесят, – согласился Яйтер, уже громко.

Покупатель улыбнулся, вынул бумажник, отсчитал деньги. Яйтер встал. Иностранец подобрал стульчик, не без критики повертел его, сложил, развернул, снова сложил и сунул под мышку, довольный.

Продав стульчик, беспомощно топтавшийся подле своих полотен Яйтер выглядел окончательным идиотом. Он провожал иностранца взглядом и вдруг увидел, как к тому подошли какие-то люди, остановили и, видимо, спросили документы. Любитель экзотической мебели испуганно обернулся, умоляюще посмотрел на Яйтера, полез за пазуху. Свободной рукой он еще крепче прижал к себе стульчик.

– Гражданин, попрошу пройти со мной.

Яйтер увидел перед собой милиционера, опасно учтивого.

– Снова запретили? – спросил он ошеломленно, намекая на общение с ненадежным зарубежьем.

– Забирайте ваше имущество и пройдемте в машину, – твердил старшина.

– Эхе-хе, – молвил Шатилов. – Что он вам сделал?

Милиционер молчал и следил за Яйтером, который обеспокоенно паковал холсты. Деревья, спохватившись, зашелестели.

4

Рация, приделанная к милиционеру, искрилась шипением адских сковородок. Разноголосые демоны бесстрастно переговаривались, согревая дыханием тлевшие угли. Чистилище приближалось. Ангел Павлинов, сидевший в машине напротив Яйтера, воздевал прозрачные руки, словно возносил кому-то хвалу. Никто, кроме Яйтера, не видел и не чувствовал Ангела.

– Я почетный пенсионер, – сказал Яйтер.

– И прекрасно, – не без иронии отозвался милиционер. – Рот прикрой. Извините, – он почему-то вдруг встрепенулся. – Приказано задержать и доставить, а дальше мое дело – сторона.

– Кем приказано? – не унимался задержанный.

– Все сейчас узнаете, – в голосе милиционера Яйтеру почудилось стыдливое сострадание.

Машина взвыла сиреной, так что даже тугодуму стало бы ясно, что речь не идет о рутинном установлении личности. По прибытии в ближайшее отделение Яйтера, не спрашивая его ни о чем, провели мимо дежурного, который с кем-то ругался в трубку; мимо безлюдного обезьянника, где только сверкали чьи-то нечеловеческие глаза; мимо высокомерных верзил с автоматами через плечо. Донеслись слова: «Ну и рожа». Острое обоняние Яйтера препарировало, ужасаясь, застойную смесь из запахов псины, гуталина и перетопленного алкоголя. Старшина топал позади, подталкивая гражданина-художника на поворотах. Они вышли к лестнице и стали подниматься во второй этаж. Наверху, миновав череду мертвых кабинетов, за дверями которых тихо сидели канцеляристы, обнаружилась запертая комнатуха. Старшина отомкнул замок, и Яйтер попал в бесцветное, обшарпанное помещение, лишенное окон и сколько-то напоминающего интерьер. Он оглянулся, ища хоть кого-нибудь, хотя бы ненастоящих, но его оставили даже ненастоящие, они попрятались. Милиционер отступил и хотел захлопнуть дверь, но посторонился, пропуская вовремя подоспевшего чина, который, похоже, караулил их за углом. Возможно, на корточках – утомившись стоять. Яйтер, захваченный этим нелепым образом, соорудил досадливую гримасу.

– Садитесь, – пригласил чин и быстро уселся сам. Стол перед ним был пуст и выцветшими кляксами напоминал состарившуюся школьную парту. – Моя фамилия Оффченко. Я из госбезопасности, курирую здешнее отделение. Но прежде всего я курирую вас, товарищ Яйтер.

Тот непонимающе ерзал на жестком сиденье и молчал.

– Можете рассматривать историю с вашей походной мебелью как предлог, – продолжал Оффченко. – Но и в самом деле интересно знать: что это была за купля-продажа?

Яйтер не знал, что сказать.

– Ему стул понравился, – пробормотал он.

– Довольно странно, не находите? Очень сильно смахивает на условный сигнал. Правда, излишне замысловатый. Что означает приобретение раскладного стульчика? А?

– Ничего не означает, – Яйтер поднял глаза и увидел, что Оффченко добродушно улыбается.

– Ну и хорошо, – Оффченко не стал возражать. – На всякий случай мы проверили покупателя. Обычный заокеанский дурак. Как я сказал, это всего лишь повод. Чем вас порадовал доктор?

Яйтер опешил.

– Откуда вы знаете про доктора?

– От вашей Марианны.

– А Марианну откуда знаете?

Оффченко внимательно посмотрел на Яйтера. Тот, в свою очередь, непонимающе таращился на Оффченко, видя перед собой дюжего и нежного белокурого херувима, красота которого была бы аполлонической, когда бы не тонкий широкий рот, будто пропиленный в подсохшем белом хлебе.

– Стерва она, ваша Марианна, – сказал вдруг Оффченко.

– Почему?

– Ну, это не важно. Скажите мне лучше вот что: как поживают ваши призраки?

Яйтер окончательно запутался.

– Что за призраки такие?

– Обычные. Или как вы их там называете... «ненастоящие» – кажется, так, да?

Тот почуял опасность, зная, что о видениях надо молчать.

– Тоже Марианна продала?

– Зачем же «продала». Доложила, – поправил его Оффченко. – В порядке заботы. Ведь вы – драгоценная личность, сын пострадавшего героя, персональный пенсионер. Мы в ответе за ваше здоровье и благополучие. Конечно, мы спросим у доктора сами. Но хотелось бы выслушать вас. Узнать ваши планы, ознакомиться с пожеланиями.

Яйтер заозирался, ища защиты у картин, но те, родные и беспомощные, остались внизу и не умели утешить.

– У меня плохие анализы, – пробормотал он.

– Вот видите, – Оффченко огорчился. – Не иначе, сказываются переживания тяжелого детства. А вы говорите.

Яйтер не говорил ничего.

– Вы сегодня выступаете в ресторане? – спросил Оффченко.

– Собирался, – кивнул тот.

– Выступайте на здоровье. Увидимся.

– Зачем?

Куратор покровительственно подмигнул:

– Мне предстоит выступить сводником. Надеюсь, что это будет благодарная роль. Мы хотим познакомить вас с одной очень интересной и привлекательной особой, хотя по ней, может быть, и не скажешь. Но первое впечатление обманчиво. Она чрезвычайно застенчива, неопытна и нуждается в нашем содействии. Вы уже заочно нравитесь ей, со слов, и она никогда бы не отважилась заговорить с вами сама. Наше посредничество желательно и, я уверен, перспективно.

5

Ресторан, куда устроился Яйтер – самостоятельно, без помощи посторонних, как ему мнилось – принадлежал к числу потомственных ресторанов, переживших многие смуты и метаморфозы. Выстояв – когда достойно, а когда не слишком, – окрепший ресторан налился соком и приобрел заслуженный лоск. Вышибала сменился швейцаром, одетым по форме; вокально-инструментальные лабухи отправились заколачивать деньги на похоронах; на смену ансамблю, вымогавшему деньги с подгулявших советских граждан, явился благообразный

седой пианист, который к полуночи уступал эстраду профессиональному коллективу, работавшему в народно-бытовом стиле. Яйтер открывал парад этих расцветших талантов, отплясывая, как уже говорилось, барыню-гопака в бутылочных сапогах и пуская вокруг пояса балалайку. Получасом позднее он выходил вторично и плясал уже вприсядку, глотая огонь. Страшное русское буйство, бессмысленное и беспощадное, веселило и будоражило зарубежных гостей, отделенных от ужаса спасительным, магическим кругом эстрады, как прутьями клетки. Покончив с пламенем, Яйтер принимал в зубы кинжал, сдвигал папаху на лоб и кружил, раскидавши ручищи подобно коромыслу; он взлетал, укладываясь в воздухе параллельно земле, и мелко перебирал ногами под недоверчивые аплодисменты.

Зал был заполнен на три четверти. Горели свечи. Половые в белых куртках, расчесанные на прямой пробор и унавоженные лаком, пригибались и преклонялись на грани пресмыкания, но странным образом не переступали последней черты. Тихий говор, укутанный в дымные простыни, плавал над кукольными столами.

Оффченко сидел на хорошем месте: не слишком далеко от эстрады и не очень близко. Яйтер, отправивший балалайку в путешествие по округности кушака, косился на его столик, стараясь разглядеть спутницу. Ему не был помехой царивший в зале полумрак. Зато ум Яйтера не справлялся с потоком событий, и танцор никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. Мысли его тяжело, как шишкинские мишки в сосновом лесу, перепрыгивали со спермограммы на стульчик, со стульчика – на арестантский экипаж, из экипажа – в объятия Оффченко, от Оффченко – к болтливой Марианне. Именно ее болтливости, а вовсе не ее же профессиональным обязанностям приписывал Яйтер осведомленность Оффченко в качестве его интимных флуктуаций. Теперь к этим мыслям прибавились новые размышления. Яйтер прижал балалайку к взопревшему животу и настоятельно забренчал. Он получил передышку и возможность повнимательнее присмотреться.

Особа, которой Оффченко как раз подливал что-то желтое из кувшина, сидела чуть сторбившись и посматривала исподлобья. Короткая стрижка, крашенные волосы – вишнево-красные, выбеленные у корней. Маленькие, колючие, запавшие глаза; широкий нос, тяжелый подбородок, вывернутые губы. Ей было, возможно, лет сорок – а может быть, и все пятьдесят. Толстое бархатное платье при глухом вороте, длинные желтоватые пальцы, тонкая и тоже очень длинная сигарета. Рука отбивала такт. Нескрываемая чувственность, сводящая на нет непривлекательность лика. Оффченко что-то сказал, кивнул в сторону Яйтера, и дама вскинула брови с откровенным удивлением. Не сводя с нее глаз, Яйтер ударил по струнам прощальным ударом, отступил на шаг и коротко поклонился. Какой-то субъект, шатаясь и дымя папиросой, вырулил к эстраде, где попытался сунуть ему болотного вида бумажку. Яйтер сдержанно покивал, вынул бумажку из непослушной руки, спрятал в карман просторных парчовых штанов. Выпрямившись, он натолкнулся на взгляд, и сразу придумал, что делать дальше.

Вместо того, чтобы уйти на перекур и уступить очередь пианисту, который, как вороватый котенок, уже завис над клавишами, Яйтер изготовил балалайку и шагнул в зал. Долгая вступительная трель разлилась, подобно грибному дождю над спелыми колосьями. Вступление плавно перетекло в «Yesterday», и воображаемая ливерпульщина засияла надраенным самоваром. Поводя балалайкой, как огнеметом, Яйтер проследовал к столику Оффченко, где и встал, придвинув инструмент поближе к уху незнакомки. По залу поползли одобрительные рукоплескания. Яйтер прикрыл глаза, словно готовясь улететь, и под особенно жалостный перебор струн поднялся на цыпочки. Оффченко указал глазами на вазу и снова что-то шепнул. Дама расплылась в широченной улыбке, вынула гвоздику и протянула ее Яйтеру. Тот, не переставая играть, вытянул шею и принял цветок зубами.

– Осчастливьте нас вашим обществом, – попросил Оффченко.

Яйтер потряс головой, что означало недопонимание. Он же и так уже здесь, вот он.

– За столик присядьте, – сухо сказал куратор.

Яйтера часто звали посидеть за столиком, но вскоре его присутствие неизменно начинало тяготить едоков. С ним было трудно вести беседу. Казалось, что он все время чего-то ждет, и это производило неприятное впечатление. А Яйтер, если чего и ждал, то лишь наводящих вопросов и разъяснений.

Впрочем, он и не подумал отказаться.

– Ладно, – ответил он, молодежато разворачиваясь обратно к эстраде.

Песня медленно умирала, уходя во вчера. Яйтер милостиво кивнул пианисту, и тот стал наигрывать нечто легкомысленное и ни к чему не обязывающее. У Яйтера было не более получаса свободного времени. Он оставил балалайку в артистической уборной, переодеться не стал, вернулся и боком проследовал в зал. Его возвращение приветствовали отдельными криками, которые быстро заглохли, стоило Яйтеру обосноваться за столиком, откуда Оффченко уже пощелкивал официанту.

6

– Это Зейда, – рот Оффченко приглашающе распахнулся, показались мелкие зубы.

– Очень приятно, – Яйтер попытался ласково улыбнуться. – Яйтер. А по отчеству?

– Как вас по отчеству? – озадаченно переспросила незнакомка низким голосом, с легким привизгом на слове «вас».

– Нет, он интересуется вашим отчеством, Зейда, – терпеливо объяснил куратор.

Оффченко сунул руку за пазуху, но тут же ударил себя по лбу:

– Это же у вас в сумочке. Покажите ему.

Зейда, оттопырив нижнюю губу, расстегнула сумочку, извлекла старую черно-белую фотографию, на которой был изображен строгий мужчина с квадратными усиками и в гимнастерке. На какой-то миг Яйтеру почудилось, что перед ним портрет его собственного отца. Приглядевшись, он понял, что обознался. Но вдруг припомнил и фамилию, и имя.

– Это же... – пробормотал он, не решаясь назвать отцовского соратника.

– Да, это он, – кивнул Оффченко. – Что же вы смутились? Теперь эти имена можно произносить безбоязненно.

Яйтер сидел и тербил скатерть.

– Давайте, однако, обойдемся без официоза. Мы же свои люди, к чему нам отчества? Нам и фамилии ни к чему – они слишком известны.

Тот отметил, что сам Оффченко оставался безымянным.

– А Яйтер – это разве имя? – не отставала Зейда.

Оффченко сдался:

– Хорошо, это фамилия. Вы же знаете, что детей врагов народа переназвали, чтобы сын не отвечал за отца. В досье говорится, что фамилию ему дали из-за частого причитания «айяйяй». Не сладко приходилось! А имя его в наши дни не вполне... – куратор помялся. – Не вполне благозвучно и не очень уместно. Его зовут Май Красногорыч. С Маем еще понятно, но что за красная гора присобачилась – теперь не докопаешься.

Подлетел официант.

– Шампанского, – приказал Оффченко.

– Я не пью, – возразил Яйтер. – Я совсем дурак, если выпью.

– По чуть-чуть, – настаивал сводник. – Я помню, что вам противопоказан алкоголь в больших дозах, – добавил он немного туманно. Яйтер не помнил, чтобы извещал Оффченко о неладах с выпивкой, которая пробуждала в нем непредсказуемые помыслы. Он и без спиртного уже ощущал неодолимое влечение к Зейде, тогда как та не выказывала ни малейшего смущения и рассматривала Яйтера даже с долей нахальства, обещая в чем-то повиноваться, но в чем-то и верховодить.

Официант наполнил фужеры.

– За знакомство! – Оффченко слегка ударил кулаком по столу, изображая безрассудную готовность к умеренному кутежу.

Пианист, к тому моменту переставший играть, симпатизировал Яйтеру. Когда фужеры соприкоснулись, он негромко исполнил туш, и гордый Яйтер важно помахал ему ручищей. Ему между тем становилось все тягостнее. Он никак не мог сообразить, к чему эта встреча и почему Оффченко принимает столь интимное участие в его судьбе. Нехитрые мысли, разорванные восходящими пузырьками напитка, забегали, как потревоженные мыши. Яйтер хватался за красного командира, бросал, цеплялся за сумочку Зейды и разбивался о черно-зеленое стекло бутылки.

– Дорогие мои, – гротескно захмелевший Оффченко раскинул руки и приобнял сотрапезников. – Вы помните песню о двух одиночествах? Я рад, что они наконец повстречались. Вы – люди похожей судьбы, одинаково обделенные жестокой историей. Опекая вас порознь, мы решили, что настала пора свести вас вместе. Кто, как не вы, лучше поймет и утешит друг друга? У вас много общего.

– Да я всегда пожалуйста, – хихикнула Зейда.

– А сколько вам лет? – спросил невоспитанный Яйтер.

– Семьдесят два, – отозвалась Зейда, ничуть не обидевшись.

– Манеры, – пробормотал Оффченко и сказал уже громче: – Да и вы, Яйтер, давно не мальчик! Что такое ваши годы? Вон какие анализы!

– Что же хорошего? – заспорил тот. – Вот, посмотрите, – он вытащил из кармана бумажку, чтобы показать Зейде, но вынул не справку, а двадцатидолларовую купюру. Он позабыл, что перед выступлением переоделся, да и справку порвал.

– Мне бы такие, – облизнулась Зейда.

– Попользуетесь, не волнуйтесь, – Оффченко показными, мелкими движениями демонстративно погладил ее покато плечо.

Яйтер сидел насупленный.

– Это много, семьдесят два, – буркнул он. – Мне сына нужно.

– Зейде никак не дашь ее лет, – парировал Оффченко. – И у нее тоже есть справка. Покажите ему, Зейда.

Та с нескрываемым удовольствием заменила фотографию выпиской из протокола обследования. Яйтер не стал читать:

– Я в их делах ничего не смыслю.

– Я менструирую всю, – сообщила Зейда.

Яйтер машинально повел носом.

– Не сию секунду, – уточнил Оффченко, чуть морщась. – В принципе.

– А, – сказал Яйтер. – Ну и что?

Оффченко и Зейда переглянулись.

– Зейда, – попросил Оффченко после паузы, – вы ведь растолкуете нашему товарищу, в чем тут дело?

– Я... – начала Зейда.

– Потом, – вырвалось у куратора. – Яйтер, вам, по-моему, пора навестить вашу бала-лайку. Смотрите – публика пригорюнилась. У вас будет возможность познакомиться с Зейдой поближе, и она ответит на все ваши вопросы.

...Пятью минутами позже Яйтер выскочил на сцену, перебрасывая из руки в руку факел. Зал разразился восторженным гулом. Ненастоящие – Павел Андреевич, Ангел Павлинов, Вера Дмитриевна, Трой Макинтош и многие, многие прочие набились битком. Они не хлопали и занимались своими неясными делами, а некоторые просто стояли, не шевелясь, иные – спинами к Яйтеру.

7

К двум часам пополудни основная программа себя исчерпала; вернувшийся пианист наконец-то обосновался надолго и прочно. Он даже поставил на пианино бокал с вином и, пока играл мечтательно и небрежно, покуривал легкую сигарету, не выпуская ее из фарфоровых зубов. Оффченко и Зейда сошли в вестибюль, где их ожидал Яйтер. Снаружи давно шуршал дождь, и Оффченко попенял себе за беспечность: не прихватил зонт.

– Вам, надеюсь, в одну сторону? – спросил он озабоченно. – Вон мои ребята скучают, могу подвезти.

Яйтер пожал плечами:

– Мне-то недалеко.

Зейда без лишних слов ухватила его под локоть.

– Как хотите, – Оффченко удовлетворенно оглядывал их, заходя то справа, то слева. – вы просто созданы друг для друга, – заметил он. – Ключ и замок, рука и перчатка, кинжал и ножны.

Яйтер неуверенно хохотнул. Ненастоящие построились на лестнице, растянувшись во всю длину ковровой дорожки. Зейда оглянулась и хрипло шепнула:

– Ненавижу, когда они подсматривают.

До Яйтера не сразу дошел смысл сказанного. И он изумился:

– Разве ты видишь?

– Их попробуй не увидь. Целая рота приперлась.

Оффченко ловил каждое слово, рот у него приоткрылся. Поэтому он упустил из вида приземистую тень, метнувшуюся в двери. Швейцар ударил в ладоши, но промахнулся, не поймал ничего. В следующую секунду приземистый, квадратный субъект с гривой седых волос до плеч и огромной серьгой в миниатюрном оттопыренном ухе схватил Зейду за кисть и дернул. Яйтер от неожиданности уронил руку плетью, и Зейда оказалась лицом к лицу с крепышом.

– Шалава паскудная, – прошипел тот. – Я давно за тобой слежу! На панель пошла? Под гебистскую крышу?

– Отпустите ее, – загремел Оффченко.

Коротышка, не ослабляя хватки, размахнулся свободным кулаком и изо всей мочи врезал Оффченко в глаз. Куратор отшатнулся, автоматически прикрывая лицо ладонями. Седой ударил снова, пробил оборону и попал в зубы. Кровь закапала на сорочку; Оффченко отнял руки и яростно воззрился на противника багровеющим глазом. Седой пнул его в промежность, так что Оффченко согнулся пополам.

– Ко мне, – заклокотал он слабеющим голосом. – Ко мне, живо...

Яйтер толкнул нападавшего в грудь:

– Осади, зашибу!

Тот качнулся, однако не внял и с ненавистью уставился на соперника.

– Баклан, придурок лагерный, падло! На кого ты тянешь? Наседка, петух...

Яйтер шагнул вперед, оттолкнул Зейду, сграбастал в лапищу лицо крепыша, подержал и вторично толкнул; тот выпустил подругу и впечатал кулак в широкий, плоский нос. Не давая себе передышки, он прыгнул, обхватил неприятеля руками и ногами, после чего немислимым карусельным вывертом переместился тому на спину, поймал в зажим и начал яростно двигать нижней частью туловища. Яйтер ответил локтем, наездник выматерился, но удержался на весу.

Оффченко, шатаясь, выбежал на улицу.

– Скорее сюда! – закричал он кому-то в машине, дверцы которой уже отворялись, и лезли наружу бицепсы. – Остановите их!

Куратор плюнул кровавым сгустком.

К ресторану мчались нахмуренные молодчики, одетые неброско: футболки, джинсы, кроссовки. Разбрызгивая лужи, они оторвались от земли, вцепились в седые лохмы, ударили в поясицу. Нападавший, рыча, свалился им в руки.

– Козел! Козел поганый! – Зейда пришла в себя и затопала отечными ногами.

– Не попортите его, – простонал мокрый от крови и дождя Оффченко. Держась за лицо, он вошел в вестибюль. – Это Йохо... Уважаемый человек и вот – хулиганит...

Яйтер, которого рывок увлек вслед за Йохо на пол, выдрался из сведенных судорогой клешней и отошел в сторону.

– Кто это такой? – осведомился он угрюмо.

– Мой ухажер, – взвизгнула Зейда и добавила непечатное слово. – Старая сука! Уже и не стоит толком, а туда же, размножаться!

– Гниль, – пыхтели молодцы, трудясь над поверженным Йохо. Брякнули наручники.

На тротуаре собралась небольшая толпа. Оффченко полез в брюки, достал платок, промокнул ссадины, махнул маленькой книжечкой:

– Проходите! Чего вылупились? Пьяных не видели?

Яйтер почувствовал, что ему уже ничего не хочется – ни Зейды, ни потомства, ни полицейской благотворительности. Кроме одного: оказаться дома, в бездумном одиночестве, да еще хорошо бы завесить черным холсты, потому что картины – те же зеркала, и Яйтер опасался, что полотна напитаются его меланхолией, поблекнут и упадут в цене. Йохо, прижатый коленом, сыпал угрозами и обещаниями вывести всех на чистую воду.

– Уходите отсюда, – велел Оффченко Зейде и Яйтеру. – Давайте, ступайте, тут не на что любоваться, – добавил он обеспокоенно, наблюдая, как Йохо вновь разевает рот, и не зная, каких откровений ждать.

Яйтер, видя нацеленные с пола глаза, не послушался и задержался.

– Увидимся, – деловито пообещал ревнивец. Он сопел, всхрапывал и крутил головой. Один из подручных Оффченко по знаку начальника зажал ему рот, но Йохо высвободился: – Я найду тебя. Я тебя не разочарую.

– Ну его к черту, – Зейда подтолкнула Яйтера к выходу. Тот все оглядывался, болезненно сомневаясь: не забыл ли чего сказать?

Гроза, постанывая, уходила на север и сыпала мелким дождем, как пылью после мощного взрыва. Черный проспект сверкал акварелями. Зейда чему-то посмеивалась – то радостно, то негодуя, и поминутно заглядывала Яйтеру в лицо. Ее толстые каблуки щелкали, подобно копытам тяжеловоза, и Яйтер уныло сравнил себя с мерином, хотя и не помнил ни самого слова, ни его смысла. Воображение лишь рисовало нечто большое, печальное и – бесплодное, как сухая лоза.

8

– Кыш, – он сказал это не без досады, но вполне миролюбиво, с обреченностью.

Как ни странно, Дитер повиновался, отступил в тень и выжидающе замер.

– Что-то они нынче послушные, – проворчал Яйтер, шаря ключом в замочной скважине.

– Дитер – хороший, – пророкотала Зейда, привалившаяся к стене.

Яйтер оставил свое занятие.

– Ты тоже так думаешь? – удивился он.

– Да вот же он маячит, такой сладкий – как же его не любить? – Зейда сняла туфлю, которой успела зачерпнуть воды в какой-то луже, и стала вытряхивать.

Яйтер поискал в толпе, выбрал Сюзанну, ткнул в ее сторону пальцем и спросил:

– А это кто?

– Сюзанна, – пожала плечами Зейда. – Плакса. Все время в слезах.

– Да, не врешь, – Яйтер был искренне обрадован. И в самом деле нашлась живая душа, с которой он мог безбоязненно обсуждать ненастоящих. Он отомкнул замок: – Заходи. Не разувайся, – позволил он Зейде, хотя та и не думала разуваться.

Дверь захлопнулась, и сквозь нее строем потянулись незваные гости: старцы, подростки, женщины и мужчины; итальянцы, болгары, немцы и русские, восковые китайцы и пепельные негры; брюнеты и блондины, почти уравнившиеся в цветах; многие – со страдальческими лицами, кое-кто – с домашними животными: притихшими овчарками, болонками на руках; крались кошки, порхали прозрачные канарейки и скворцы. Новорожденные мяукали и шли своим ходом. Они плохо держали головы, и те все время падали то на одно, то на другое плечо. Яйтер зажег в прихожей свет, так что шествующие моментально поблекли.

Виляя бедрами, Зейда свернула в мастерскую.

– Не сюда, – придержал ее Яйтер.

Он перенаправил подругу в гостиную, одновременно служившую спальней. Было много пустого пространства; интерьер угнетал непритязательностью: старый, очень тяжелый обеденный стол, застланный изрезанной клеенкой с выцветшими цветами; раскладной диван – горбатый от выбившихся пружин; несколько шатких стульев с высокими резными спинками; портативный черно-белый телевизор, запальчиво и жалко выставивший троллейбусные антенны, которыми толком ничего не мог поймать. Дешевый шкаф с захватанной полировкой и свернутой четверо бумажкой, подложенной под ножку. Люстра о трех ногах, пыльная и тусклая. В углу были свалены музыкальные инструменты: балалайка, двенадцатиструнная гитара, свирель и бубен.

Ненастоящие выстроились по периметру комнаты.

– Что-то их много нынче, – Яйтер почесал в затылке. – Вера Дмитриевна! Тьфу, Васильевна... Идите к окошку, там есть местечко. Я сейчас задерну шторы.

Шторами он называл истертые, штопанные занавески в полосочку.

Зейда придвинула стул к столу, села.

– Я их гоню, но все больше без толку, – сообщила она. – Пялятся, надоели.

Яйтер вздохнул и махнул рукой:

– Кушать не просят – и то спасибо.

– Да, спасибо им! – передразнила его Зейда, доставая сигареты и зажигалку. – Может, из-за них и не выходит ни черта. Я не люблю, когда наблюдают.

– Что не выходит? – не понял Яйтер. Он сел на диван, вытянул ноги и не догадывался предложить чаю или чего еще.

– Детей заделывать. Йохо закрывал глаза и затыкал уши ватой.

– Он тоже видит?

– Он даже чувствует. А нос не заткнешь надолго.

– Можно ртом дышать, – предположил Яйтер.

– У него астма, – теперь вздохнула Зейда. – Он сразу задыхается.

Они помолчали, стараясь не обращать внимание на неподвижных ненастоящих. В голове у Яйтера постепенно оформился важный вопрос.

– Этот твой Йохо... Он что же – как и мы? В смысле – сирота?

Зейда удивленно выдохнула дым.

– Ну да. А ты сомневался?

– Почему же мне знать?

– Ты даешь, – Зейда встала, прошлась по гостиной, покрутила усы-антенны, легонько наподдала бубен. – Нас же много. Точнее, это вас много, а нас – нет. Я одна на всех, в общем. Меня всем по очереди подкладывают: а вдруг получится? Я с одним провела год, еще с одним – четыре, с Йохо – целых пять. Меня давно уговаривали поменять его. Шило на мыло.

Яйтер двигал челюстью, как будто разжевывал услышанное. Он глотнул и, будучи в некотором смятении, зачем-то погладил одеяло.

– Зачем они подкладывают?

Зейда сходил в кухню, вернулась со стаканом томатного сока из холодильника.

– Наверно, вину искупают. Раскаиваются. Хотят, чтобы славная командирская линия продолжилась.

Яйтер подумал и решил, что объяснение полностью его удовлетворяет.

– Они клялись, что ты перспективный, – Зейда пустила очередной смешок. – У тебя агрессивное семя. Едва, говорят, не пробило мою клетку.

Эти сведения оказались выше разума Яйтера. Он выпучил глаза:

– Я тебя впервые вижу...

– Да ты совсем тупой, – нахмурилась та. – Йохо куда умнее. К чему тебя меня видеть? Ты сдавал анализы? Сдавал. Куда они, по-твоему, пошли?

Яйтер покраснел; это было заметно даже сквозь густую порось на лице. Зейда раздавила сигарету в пепельнице, поднялась и грузно опустилась ему на колени. Диван еле слышно пискнул. Какая-то недодуманная мысль мешала Яйтеру заняться шерстяным платьем. Семьдесят два года? Нет, не семьдесят два – пять... Откуда же пять?

– Почему ты так долго была с этим Йохо? – вдруг сообразил Яйтер, берясь-таки за язычок «молнии». – Целых пять лет. Получается, что очередь ждала...

– Вы с ним отличаетесь от остальных, – Зейда выпростала руку, полную и смуглую, поросшую волосом. – Вы достойнее. Они намекнули. Сказали, что ваши отцы пострадали сильнее всех. Как мой.

– Премияльные, стало быть, годы, – Яйтер ухватил платье за подол и потянул кверху, Зейда немного привстала.

– Не выключай свет, – попросила Зейда. – В темноте лучше видно демонов. Я не хочу их видеть. Я стараюсь не обращать внимания.

9

Йохо явился под утро с маленьким вафельным тортом и бутылкой мартини.

В это время Яйтер лежал, придавленный Зейдой – ее правыми рукой и бедром; в комнате с ночи остался острый, очень едкий мускусный запах. У Яйтера слипались глаза, и он боялся подумать о Зейде, какой та была лет сорок тому назад.

Они вяло беседовали о ненастоящих.

– Ты вот говорила, что гоняешь их, – сонно расспрашивал Яйтер. – Как это?

– Когда как. Иногда рывкаешь на них, топаешь: уходи, убирайся, канай отсюда! Они стоят. А иногда процедишь сквозь зубы: «пошли вон» – и порядок. У меня плохо получается, когда нарочно. И только одного-двух. Толпа меня совсем не слушается.

– Здорово, – искренне восхитился тот. – У меня и с двумя ничего не выйдет. И с одним не выйдет.

Зейда защемила ему нос:

– Значит, я продешевила? То ли дело – Йохо! Пошепчет или скажет – и все. Как ветром сдувает.

Она, конечно, шутила – глаза выдавали. Яйтер не разобрал, к чему относится шутка: к тому ли, что она якобы продешевила, или к удивительным способностям Йохо.

Звонок резанул по ушам, и Яйтер, болезненно воспринимавший грубые шумы, невольно скривился. Высвобождаясь из-под Зейды, он успел заметить ту же гримасу на ее лице. Не спрашивая невидимого гостя ни о чем, он распахнул дверь и моментально узнал ночного буяна. Йохо сиял виноватой улыбкой.

– Я приношу мои глубочайшие извинения, – сказал он басом и отрывисто поклонился. Яйтеру показалось, что даже щелкнули каблуки. – Я вел себя необдуманно, я не навел справки.

Речь его отличалась от простецкой манеры, в которой изъяснялись Яйтер и Зейда; в остальном же он удивительно походил на обоих: те же грубые, абы как высеченные из сучковатого бревна черты, та же обильная растительность на лице, руках и в проеме цветастой рубахи навыпуск, с короткими рукавами. Седая грива была убрана в косичку. Осклабленная пасть сверкала золотом.

Йохо поднял повыше торт и мартини, чтобы Яйтеру было хорошо видно.

– Меня зовут Йохо, к вашим услугам.

Он шагнул в прихожую, и Яйтер посторонился.

– Где же наша шалунья? – загрохотал Йохо, вертя головой.

Шалунья сидела в постели, прикрытая простыней до мощных ключиц.

Йохо остановился на пороге, потянул носом:

– Рабочий полдень! – он покачал головой и, подмигнув Зейде, прошел к окну, потянул на себя створки. Подарки он походя оставил на столе. Оглядев помещение, рассмотрел еле видных визитеров, жавшихся к стенкам. – Они вам нужны? – Йохо поднял бровь и хитро улыбнулся.

– Да никто не мешает, – ответил Яйтер. – Но без них лучше.

– Значит, видите, – похвалил его Йохо, довольный результатом проверки. – Мы сейчас примем на брудершафт и перейдем на «ты», если не возражаете. Валите отсюда! – вдруг закричал он, упершись взглядом в несчастного Павла Андреевича, которого и без того колотило. – И вы все валите! – он резко повернулся. Ненастоящие вытянулись в струну и втянулись в стены, где затерялись в пестром рисунке обоев.

– Ну-с, – он присел к столу, развернул перочинный нож, сорвал с торта крышку и ловко нарубил его большими ломтями.

Яйтер принес недостающий фужер.

– Я по этой части не очень-то, – предупредил он. – Тем более с утра.

– Ну и я не очень, – отозвался Йохо. – Но брудершафт неизбежен. Ведь мы и без брудершафта, считайте, едва ли не братья. Во всяком случае, по несчастью.

– Я целую выпью, – объявила Зейда, имея в виду неизвестно что: бутылку или рюмку. Рюмок, однако, не было – только фужеры.

Гость разлил мартини, встал.

– Я предлагаю выпить за наших призраков. Когда бы не они, мы бы не сидели за одним столом.

– Это вы про ненастоящих? – осведомился Яйтер.

– Да, если вы их так называете. Но это, по-моему, неправильно. Это же привидения, и как привидения они вполне настоящие.

– Еще пить за них, – буркнула Зейда. – Чтоб им пропасть.

Вместо ответа Йохо состыковал свой фужер с фужерами новоиспеченной четы. Потом обвил рукой руку Яйтера и сосредоточенно припал к напитку. Яйтеру не оставалось ничего другого, как подчиниться и выпить из фужера Йохо. Допив до дна, Йохо выпустил локоть Яйтера, поставил пустой фужер, обнял хозяина и троекратно поцеловал: все три раза – в губы, но под разным углом.

– Вот это я понимаю, – крикнул Йохо, садясь на место.

Комната, лишённая призраков, помертвела и казалась заброшенной. Ненастоящие плохо задерживали звук, почти вообще его не держали, однако острый слух Яйтера отметил легкое усиление эхо.

– С чего ты сегодня такой добрый? – спросила Зейда.

Йохо отправил в рот кусок торта. Орехи и шоколадное крошево посыпались на клеенку.

– Гебешник проболтался. Обронил ненароком, что наш товарищ умеет видеть. Я сразу решил, что надо держаться друг друга.

Он ухмыльнулся Яйтеру в лицо:

– А если бы ты был обыкновенный, как остальные «наши», – на этом слове Йохо построил презрительную мину, – то я бы тебе точно башку проломил.

Яйтер был из породы миролюбцев и миротворцев. Он не стал возмущаться, а просто задал вопрос:

– Какая тебе разница?

– Сейчас увидишь, – Йохо запил съеденной. – Давай сюда лапу. Думай о ненастоящих. Соберись. И ты давай, – велел он Зейде.

Взявшись за руки, они сидели за столом, как будто готовые к спиритическому сеансу столоверчения. Но стол оставался недвижим.

– Вместе мы – сила, – изрек Йохо. – Даже вдвоем – впечатляет. Ты рассказала ему?

– Он не спрашивал, – хмыкнула Зейда.

– И не надо, – пробормотал Йохо, сосредоточенно вглядываясь в клеенку. – Сейчас он все увидит сам.

10

Первыми появились глаза.

Их было много, этих глаз, десятки пар. Они опоясали комнату своеобразным настенным бордюром. Разной расцветки, они казались одинаковыми – полуприкрытые, ничего не выражающие, пустые, неподвижные. Можно было решить, что они слепые. Йохо по-прежнему таращился себе под нос, Зейда тихо и протяжно мычала, а Яйтер, держа обоих за руки и чувствуя, как те скользят от пота, следил за глазами. Глаза приобретали объемность, таща за собой носы и подбородки. Целые лица выступали из стен, напоминая мрачноватые барельефы. Многие из них Яйтер узнавал, это были ненастоящие, которых он отлично знал и с которыми свyksя, но на сей раз они выглядели иначе, а их явление, их просачивание сквозь стены сильнейшим образом удивляло, ибо прежде ничего похожего за визитерами не водилось. Все, если не считать мычания Зейды, творилось в полной тишине. Это производило довольно гнетущее впечатление, которое усиливалось под действием редких уличных звуков. На выступавших телах какое-то время сохранялся рисунок обоев, но быстро переползал, перетекал назад, перемещался к ним за спины. Фигуры стояли, подобные египетским коконам-саркофагам. В нарядах различных эпох и народов они не походили ни на статуи, ни на роботов. Они обретали телесность, с которой Яйтер ни разу не сталкивался: те силуэты, какие он видел прежде, были двумерными и прозрачными. Иногда с ними удавалось перекинуться словом, но чаще – нет.

– Новенький в углу, – глухо произнес Йохо.

В дальнем углу проступил молодой мужчина. В отличие от других ненастоящих, он не был безнадежно мертв: у него прыгали губы.

– Сосредоточьтесь на нем, – распорядился Йохо, и Зейда замолчала. – Просто смотрите на него. Говори! – обратился он к мужчине. – Теперь я вижу, тебя зовут Антонио.

Лицо незнакомца ожило, но сам он по-прежнему не шевелился.

– Убейте меня, – прошелестел он слабым голосом. – Я не хочу здесь быть. Пожалуйста.

– Где ты находишься? – спросил Йохо.

– Не знаю. Здесь очень плохо. Позвольте мне уйти навсегда.

– Что я должен сделать?

– Убить меня. В голову. Обязательно – в голову. Не должно остаться памяти. Память – проклятье. Память – червь.

– Будут к нему вопросы? – обратился Йохо к товарищам.

Яйтера осенило:

– Кто такой жаркий? Или огненный? Зачем мне его тянуть?

Антонио помолчал.

– Жаркий здесь, – выговорил он после раздумья. – Он хочет сюда. Ему трудно. Ему нужна помощь. Мне нужна помощь. Убейте меня в голову, только в голову. Пожалуйста. Жаркий хочет о чем-то рассказать. Мне не добраться до него, там горячо.

Зейда вдруг задрожала.

– Они слишком настоящие, – пожаловалась она. – Эти еще хуже прежних.

В ответ Йохо слегка пожал ей руку в ответ:

– Не бойся. Мы теперь соображаем на троих – а значит, нам многое по плечу. Как я и думал. Давайте поможем товарищу, а потом уберем остальных. На время. Мы их активируем на следующем сеансе.

То, как Йохо предложил помощь Антонию, не понравилось Яйтеру. В интонациях седого таилась трепетная сладость, жадноватое предвкушение.

– Как мы ему поможем? – спросил Яйтер.

– Мы попробуем его убить, – объяснил Йохо будничным голосом, однако в самом конце фразы сорвался на возбужденное придыхание. – Коли он просит. Мне попадались такие, хотя и нечасто. Я уже пытался на них воздействовать, когда был один. И с нею вместе, – он кивнул на Зейду. – Она трусливая, и я брал ее за руку, когда она спала. Всего этого было мало. Но сегодня дельце может и выгореть. Нам, правда, придется расцепить руки – еще неизвестно, чем это аукнется. Я боюсь, что связь ухудшится.

– Я не хочу никого убивать, – твердо заявил Яйтер.

– Дурак, – оскалился Йохо. И прикрикнул на Зейду: – Прекрати скулить! Дурак, – повторил он. – Они уже и так мертвые. Ты что, не знал? Это покойники. Мы умеем их вызывать – ты, я, она. Наши кураторы-благодетели знают об этом и хотят вывести новую породу таких... – Он запнулся, подбирая слова. – Операторов связи, – придумал он наконец и посмотрел на Антонию, у которого, пока длился совет, выступили слезы. – Допрашивать их, вербовать.

– Зачем вербовать? – Яйтер, наконец, осознал, что до сих пор мало задумывался о сущности ненастоящих, относясь к ним как к досадному феномену, природному выверту.

– Откуда я знаю? Может, они умеют чужие мысли читать. Ты представь: бродит такой невидимка и вынюхивает. Бесценные кадры!

Антонию, жаждавший скорейшего решения своей судьбы, упал на колени.

– В голову, говоришь? – прищурился Йохо. – Мы сейчас расцепим руки. Ты не убежишь?

– Не знаю, – простонал Антонио.

– Ну, мы тебя потом вернем, если что.

– А как же с жарким? – напомнил Яйтер.

– Доберемся и до твоего жаркого. Сейчас меня больше занимает эксперимент, – Йохо разжал пальцы и встал. Барельефы остались стоять, как стояли, а Антонию с надеждой поднял лицо. – Очень хорошо, – одобрительно молвил Йохо. – Я даже не ожидал.

Стоя во весь свой невысокий рост, он поискал глазами, пока не остановил взор на балалайке. Пройдя в угол, Йохо поднял ее и взвесил в руке.

– Это хрупкая вещь, инструмент, – всполошился Яйтер.

Он выпустил руку Зейды и приподнялся, намереваясь отобрать балалайку, но Йохо был проворнее. Он достиг Антонию прыжком, замахнулся и с силой ударил острым углом в темя, где только-только намечалась ранняя лысина. Раздался чавкающий хруст. По действием струнного дерева обломки костей провалились внутрь черепа, так что Антонию мгновенно залился розовой жидкостью, лишь отдаленно напоминавшей кровь. С пола, куда упали брызги, взвились струйки пара. Жидкость исчезала на глазах. Лицо Антонию исказилось в подобии благодарной улыбки. Правая рука подтянулась к сердцу, ловя его последние удары, а левая кисть

судорожно сжималась и разжималась, как будто разминала воздух. Антонио начал бледнеть, уже падая. Он был бледен и без того – бледнел, теряя объемность, сам силуэт.

Потрясенный Яйтер стал бездумно напевать, как это с ним часто случалось в минуты душевного смятения. Он стоял, смотрел на Йохо, выжидающе нависшего над Антонио, и не двигался с места. Зейда уронила голову на клеенку и вновь замычала – на сей раз мучительно, тоскливо, безысходно.

11

Оффченко ознакомился с результатами секретного прослушивания.

Огромные бобины бесшумно вращались. Рядом с Оффченко сидел Дитятковский: домашней, уютной наружности человек лет сорока пяти, похожий на гоголевского Башмачкина. Он и одет был просто, по-домашнему: застиранные джинсы, клетчатая фланелевая рубаша, теплая безрукавка. Его очки заинтересованно сверкали. Он прибавил громкость, стараясь прислушаться к неразборчивой песне Яйтера и монотонному гудению Зейды.

– Пора вертеть дырочки, – Оффченко намекал на орден. Он потянулся. – Колоссально. Давно пора было их свести.

– Меня беспокоит жаркий, который к ним рвется, – Дитятковский, казалось, не разделял эйфории сослуживца. – Сдается мне, что от него будут одни неприятности.

– Никаких неприятностей не будет, – уверенно возразил Оффченко. – Они ничего не знают.

– Пока не знают, – уточнил Дитятковский, заведовавший службой технического обеспечения. – Меня настораживают эти рассуждения об операторах связи. Того и гляди, выйдут на маму.

– Мама явится? – насмешливо спросил тот.

– Мама пусть явится, – спокойно сказал техник. – Мама будет молчать. Если только не произойдет мысленного слияния. Или эмоционального. Могут явиться папы – вот в чем опасность.

– Останови, пойдем перекусим лучше, – Оффченко высвободился из объятий огромного, где-то конфискованного кресла, которое вытребовал для своего персонального комфорта. – Ну, явятся. Ну, потолкуют они. Чем это нам грозит? Рассекречиванием? Хорошо, пускай рассекречивают. Перед ними открывается будущее, которое с лихвой окупит любое прошлое.

Дитятковский остановил бобины и тоже встал. Он вынул маленький кошелек, высыпал мелочь в ладонь и начал пересчитывать.

– Ты забываешь, что они не слишком крепки умом, – среди монет он обнаружил одну негодную к обращению, иностранную; нахмурился, переложил ее в задний карман. – Йохо потолковей, но и правое полушарие у него очень активное. Он плохо контролирует эмоции. И если эмоции захлестнут всех троих, последствия могут быть довольно серьезными.

Оффченко томился в ожидании, победно скользя глазами по штабелям еще не распакованных коробок с офисной техникой. Он прикинул: «Тут наберется на миллион».

– Не будет никаких последствий. Если они взбунтуются, мы их просто запрем. Порознь. Неужели не справимся?

Дитятковский разобрался с мелочью, рассовал по карманам телефон, сигареты, кошелек, ключи. Он долго не отвечал, сосредоточенно проверяя себя: не забыл ли чего. Потом вдруг заступил дорогу Оффченко и спросил, глядя снизу вверх:

– Вот ты – ты бы как поступил? Сказал бы кто тебе – и что бы ты сделал?

– Убил бы! – шутливо зарычал Оффченко, схватил Дитятковского за плечи и встряхнул.

Они вышли из отдела обработки оперативной информации, заперли дверь: сначала на ключ, а потом еще почесали специальную щелочку пластиковой картой.

В столовой было, как всегда, немногочленно. Дитятковский и Оффченко взяли оранжевые подносы, поставили их на сверкающие сталью рельсы и стали выбирать кушанья. Дитятковский взял себе салат, а Оффченко – запеканку. Впереди дымилось горячее, и повариха в чине сержанта уже приветливо улыбалась, готовая погрузить поварешку в пестрый гороховый суп.

– Ну, а если серьезно? – настаивал Дитятковский.

Оффченко не хотелось сбиваться на пафос. Он немного подумал, вздохнул и печально сказал:

– Я бы застрелился.

– То-то же, – строго отозвался товарищ. И добавил: – Откровенно говоря, сам я предпочел бы скончаться бездетным в июле 1914 года, в возрасте 80 лет. Впрочем, лучше в 1916-м... Глубокому старику приятно видеть, как все вокруг проваливается в ту же могилу.

Набрав разной снеди, они устроились за угловым столиком, откуда лучше просматривалось помещение: сделали так машинально, по многолетнему обычаю. Оффченко погрузил ложку в суп, поболтал, подул, попробовал и недовольно отвалился: горячо.

– Не тех ты боишься, если начистоту, – сообщил он, придвигая запеканку.

– Не тех? А кого же бояться?

– Покойников. Как полагается. Вдруг они наберут силу? Такую, что не спровадишь обратно?

Дитятковский пренебрежительно махнул бумажной салфеткой, которой протирал вилку.

– Что за глупости! Дело техники. Ничего потустороннего нет. Мы по-прежнему имеем дело с материей, только очень тонкой. Бери пример с Голливуда: они уже давно внедряют мысль, что нет ничего невозможного – были бы чуткие приборы. Настроил радио, поймал призраков, а то и Господа-Бога. Конечно, это подается очень примитивно, но товарищи движутся верной дорогой. Вызовем, разберемся и спровадим – дело техники.

– Твоими бы устами... – пробормотал Оффченко, разламывая запеканку.

– Что – моими устами?

– Салат кушать, – отшутился куратор.

12

Через четыре недели, с четверга на пятницу, Яйтеру приснился сон.

Во сне он сделался отцом маленького мохнатого сынули, который бродил по студии, спотыкался о разбросанные орудия творческого труда, самозабвенно лепетал, почти чирикал; Яйтер следовал за ним по пятам, боясь, что малыш убьется, и все кликал Зейду, чтобы она тоже полюбовалась, но Зейда лежала, укрытая одеялом, и огрызалась, требуя не мешать ей; Яйтер растерянно уходил и смотрел, как сынуля макает в красную краску огромную кисть, как лупит ею по белому листу, закрепленному на специальном мольберте, который сам Яйтер соорудил для нужд малорослых художников, еще не привычных к прямохождению. Сынуля отбрасывал кисть и брался за флейту, переделанную под действием сновидческой вседозволенности из свирели; он принимался дудеть, издавая смешные водопроводные звуки и поглядывая на Яйтера в поисках одобрения; тот сажал его на колени, чтобы погадать по маленькой желтоватой ладошке с недостаточно отстоящим большим пальцем, но в этот момент вваливался Йохо в костюме Оффченко, нагруженный двумя большими мешками, в каких держат асбест, и рассказывал, что это никакой не асбест, а портативные ядерные заряды, и он намеревается взрывать их в кухне; он запирался там, и вскоре гремели взрывы, и пыль оседала повсюду, и Яйтер указывал, что пыль эта наверняка вредная, особенно для ребенка, но Йохо лучился зубастой улыбкой и возражал, говоря, что ничего, дескать страшного; Йохо брал щеточку, чистил стены и подоконник, собирал осадки в маленькую расписную мисочку, из которой малыш ел овощной суп; Йохо совал эту посудину под родительский нос как доказательство полной безвредно-

сти его забав, и Яйтер, скрепив сердце, соглашался, пока Йохо не приволок особенный, огромный мешок, из-за чего он увел кроху на маленький балкон, где тоже было небезопасно: взрыв, устроенный Йохо, каким-то образом произошел не в стенах кухни, но снаружи, за домами, над проводами – ослепительный и ужасный, жаркий и жгучий; Яйтер прикрыл сынуле глаза, положив на них свою большую, дрожащую от беспокойства руку, а в следующее мгновение под этой рукой уже никого не было, сынуля куда-то побежал – не иначе, хотел посмотреть, чем занимается дядя Йохо, и Яйтер прыжками помчался вдогонку, но не нашел никого – ни сына, ни Йохо, ни Зейды, и все вокруг хранило на себе багровый отсвет, молчало и молчаливо осуждало, а Йохо, оказывается, парил под потолком с широко распростертыми рукоткрыльями, и Зейда парила, и Яйтер парил, хотя все они были и не они вовсе, зато малыш нигде не парил, его не было, он пропал, и на столе по-прежнему стояла забытая мисочка с пылью.

– У меня задержка, – объявила Зейда, когда Яйтер проснулся.

Тот понял не сразу. Сперва он решил, что надоел и опротивел Зейде, и вот она оповещает его, что сильно подзадержалась в его квартире. И Яйтер в душе сокрушенно вздохнул, и даже собрался навестить доктора – привычный, никуда не ведущий маршрут.

– Задержка, – повторила Зейда со значением и указала на свой живот.

Теперь до Яйтера дошло.

– Не может быть, – прохрипел он. Голос, одевшись мокротой, уселся на голосовые связки, как на горшок – основательно и надолго. Яйтер кашлянул, сгоняя его прочь.

– Полторы недели, – добавила Зейда. – Я пойду к врачу.

Яйтер уже всем своим существом поверил в невероятное, он не нуждался ни в каком враче, он боялся врача, который мог разрушить самозарождающийся замок его мечты. Наверное, полагалось выразить некий восторг, обниматься и целоваться, ворковать. Но Яйтер, смятенный до крайности, ограничился лишь тем, что неловко погладил Зейду по колену, согнутому под одеялом. Вдруг он восстановил в памяти только что виденный сон и нахмурился:

– Надо завязывать с ненастоящими. Я скажу Йохо. Тебе это может быть вредно.

Чувства переполняли его, и он затанул унылую песню без слов, продолжая наглаживать колено. Яйтер не сознавал, что поет. Ему казалось, что он обдумывает услышанное. Тут мысленный сумбур достиг критической отметки, лопнул, и наступила красная ясность. Тогда он сказал:

– Собирайся. Купишь в аптеке тест.

За годы бесплодных трудов Яйтер приобрел осведомленность в диагностике беременности. Наборы для тестирования приобретались достаточно часто, чтобы факт их существования отпечатался в его сознании. Конечно, приобретались они от отчаяния, в несбыточной надежде на чудо, когда и без теста все было понятно.

– Куда я пойду? Посмотри на часы.

Старый механический будильник показывал четыре утра. Город за распахнутым окном рокотал разреженным рокотом, то наваливаясь на дом, то откатываясь.

– В дежурную сходи.

– Далеко.

– Тогда я сам схожу, – Яйтер свесил с постели ноги, не думая о нелепости своего появления в сонной аптеке с требованием теста на беременность.

– Валяй, – и Зейда наконец улыбнулась. Улыбка вышла уверенная, торжествующая; в душе Зейда нисколько не сомневалась в результате.

– А разорвался: старая, старая! – попеняла она Яйтеру, не в силах сдержать таки прорвавшееся материнское ликование. – Поспи еще, так и быть.

Она встала и широко зевнула. Яйтер любовался ею, стараясь не замечать ее разительного сходства с неандертальцем. Погода стояла теплая, и Зейда оделась быстро, натянув на себя все то же глухое тяжелое платье – единственное среди изобилия просторных брюк и свитеров.

– Я куплю тебе что-нибудь легкое, просторное, – пообещал Яйтер, следя за тем, как Зейда вычесывает щетку крашенных волос грубым гребешком. – Из ситчика, в цветочек.

– Ты мой добытчик, – та потянулась и погладила Яйтера по бритому, но уже колючему черепу. – Не сучай, – она пошла к выходу. – Я скоро.

...Тяжелыми, никак не приличествующими ее годам скачками она преодолела спуск по мрачной и прохладной лестнице, благоухавшей мочой – человеческой и кошачьей. На улице помедлила, вдыхая утренний воздух. Река приветствовала ее, мосты приветствовали ее; она положила ладонь на живот в ожидании робкого отзыва. Внутренности бурчали, встревоженные скорым уплотнением с подселением. Продолжая стоять, где была, Зейда тихонько затянула колыбельную, которая мгновенно всплыла в ее памяти, словно давно и тяжело ждала. «И-хи, и-хи, и-хи», – бормотала Зейда, не обращая внимания на отсутствие мотива. Придыхающие междометия оказывали на ее чрево благодное, умиротворяющее воздействие.

Она пересекла трамвайные пути, ведомая чутьем. «Пятьсот шагов направо, свернуть, еще полтора и выйти через проходной двор», – в мозгу, как бывало обычно, вычерчивался безошибочный курс, и Зейда принимала как должное свое удивительное умение ориентироваться в малознакомых местах.

Тем временем Яйтер, голый и трогательно безобразный, не стал досыпать и взялся за вино, к которому привык и пристрастился за многочисленные сеансы. Оно, благодаря Йохо, не переводилось.

«Йоха-выпивоха», – сочинил Яйтер.

Ненастоящие послушно выстроились вдоль стен. Яйтер сгреб несколько бокалов и приблизился.

– Берите! – приказал он. – Кому говорю! Павел Андреевич! Петр Николаевич! Гуляем по случаю.

Те продолжали стоять, вытянув руки по швам. Безжизненные взоры пронзали Яйтера. Он попытался всучить бокал Ангелу Павлинову – безрезультатно. Ножка, расширявшаяся в округлое основание, прошла сквозь рукав пиджака. Попробовал сунуть другим, и снова ничего не добился.

– Ну, тогда идите к черту, – распорядился Яйтер, уже немало преуспевший в изгнании призраков.

Попивая вино, он смотрел, как тают ненастоящие, как они теряются в настенных узорах.

13

– А как там жаркий? – поинтересовался Йохо, развалившись на стуле. Его поведение во время сеансов существенно изменилось. Много, казавшееся ранее недостижимым, теперь, после усердной тренировки, стало доступным.

Они уже не брались за руки, способные объединиться усилием мысли. Яйтер, опасавшийся за ребенка, хотел воспротивиться, но Йохо ответил, что это никак не может повредить, и даже повысит качество общения, ибо теперь их – четверо. «Молодец», – похвалил он Яйтера не без зависти.

– Я тебя спрашиваю, – повторил Йохо.

Дитер хмурился и отмалчивался.

– Его не пускают, – изрек он после долгих раздумий.

– Кто не пускает?

– Я не знаю. Мы слышим его, но не видим.

Йохо задумчиво побренчал ложечкой в кофейной чашке. Он уже совершенно освоился в доме Яйтера, он почти породнился с хозяином – тем легче, что с его сожительницей и прежде был достаточно близок, чтобы не ставить ее ни во что, разве только высасывать ментальные

силы для пущего овеществления потусторонних гостей. И временами поглядывать – похотливо и недовольно, молчаливо коря за уход к работнику творческих профессий, умственно отсталому размазне. Йохо старался не выставлять напоказ своих чувств, преследуя цели более важные, но Яйтер с лихвой компенсировал недостаток ума остротой сопереживания и явственно ощущал затаенную неприязнь. Он несколько раз пытался вызвать Йохо на откровенный разговор, намереваясь обвинить во всем Оффченко и высший промысел – вещи в его представлении равные, но никак не умел подобрать нужные слова. Йохо, не встречая сопротивления, наглед и набирался странной удали. Все чаще он намекал на некие решительные меры, которые им предстоит предпринять в недалеком будущем, но при этом ничем не указывал на субъектов действия. Он все настойчивее вызывал потаенного «жаркого», рассчитывая получить какие-то важные сведения, касавшиеся всех троих.

Что до Зейды, то она постепенно теряла интерес к спиритическим играм. Накупила пеленок и чепчиков, распашонок; взяла даже огромный букварь, не говоря уже о сосках, погремушках и прочих преждевременных вещах. Прошло четыре месяца, и талия Зейды чуть сгладилась, но роды уже мыслились состоявшимися и благополучными. Она отказывалась от выпивки, и Йохо не настаивал, видя, что состояние беременности каким-то бесом поддерживает способности Зейды на должном уровне и даже усиливает их. Тренировки продолжались; теперь привидения не стояли столбом и не тарасились идиотическим взором: они прохаживались по комнате, деликатно покашливали и только изредка, забываясь, падали на колени, причитали, бормотали невнятицу. Йохо уважил просьбу еще пятерых, настойчиво желавших убийства в голову – старенького католического священника, волжского купца, семилетнего мальчика-француза по имени Селестен, цветущей прачки и свирепого воина из далекой старины, неизвестного рода, незнакомого племени. По словам остальных, путы, удерживавшие долгожданного жаркого, день ото дня ослабевали, так что в любой момент можно было рассчитывать на его визит.

А Яйтер боялся расплескать свое счастье. Он забросил живопись, но продолжал выступать в ресторане, куда однажды вновь наведалься Оффченко, на сей раз в обществе довольно подавленного, неряшливо одетого очкарика. По простоте душевной бесхитростный Яйтер в ответ на дежурный вопрос о самочувствии и делах рассказал все подробно и даже на миг обрел некое подобие красноречия. Оффченко пришел в несказанный восторг и пообещал лучших врачей, лучший родильный дом и любые лекарства.

– Не беспокойтесь о цене, – он радостно пожимал Яйтеру руку.

Его спутник хлестал себе водку и помалкивал.

Йохо, когда Яйтер известил его о контакте с куратором, зловеще усмехнулся:

– Еще бы он не пел соловьем! Им позарез нужен этот ребенок.

– Зачем? – похолодел Яйтер.

– Затем, – передразнил его Йохо. – Затем, что им хочется вундеркинда. Якшаться с покойниками. Ты да Зейда – что получится? Один я не у дел.

Яйтер ощерился:

– Они его не получат! Я порву их на куски...

Он ссутулился, втянул голову в плечи, слегка развел длинные, мохнатые руки с пальцами скрипача.

– Мы... уедем! Куда-нибудь далеко, пусть ищут...

– Это их работа, искать, – возразил Йохо, возбужденно ероша копну седых волос. Косичка расплелась, резинка упала на пол. – Может быть, на Луну? Давай, действуй... В Америке торгуют участками.

И Йохо заметался по комнате. Он почему-то разволновался еще сильнее, чем перепуганный будущий отец.

– Мы должны поспешить. Мы ни хрена не знаем, а они знают все.

– Как же мы поспешим? – безучастно откликнулся Яйтер. Первоначальная ярость схлынула, оставив его при сомнениях и страхах. – Куда мы поспешим?

– Не куда, а с чем, – поправил его Йохо. – Нам нужно кровь из носа, но выдернуть этого жаркого. Он должен много знать. Я чувю.

– Может быть, он вампир какой-нибудь. Чудовище. А мы его сами вызволим.

– Кто не рискует, тот не пьет шампанского, – и Йохо потянулся за бутылкой. – Выпьешь? Ну, как хочешь. А я рискую, я выпью.

14

Жаркому, чтобы созреть, понадобилось семь месяцев.

Зима состарилась, но стала лишь злее и крепче. Она расселась в снегу, подобно слабоумной старухе, которая отправилась бродяжничать, заблудилась и села перебирать узелок с тряпками. Город смиренно помалкивал.

Яйтер готовился к рождению наследника: купил кроватку и манеж, переделал студию в детскую, приладил к люстре индейский амулет: ловца сновидений – ловушку, хитроумно сплетенную на манер паутины и не однажды вдохновлявшую мировых писателей и киносценаристов. Это устройство улавливало и задерживало нехорошие сны. Ненастоящих тянуло к нему, как магнитом. Они, будучи вызваны, толпились под люстрой, запрокидывали головы, простирали руки. Их развелось видимо-невидимо, и приходили новые – обычные и необычные люди, понадерганные из разных эпох.

Оффченко объявлялся время от времени: он с неподдельной заботой интересовался самочувствием Зейды и предлагал помощь. «Не бери от него ничего», – советовал Йохо. И Яйтер отказывался, поблагодарив.

Их совместные силы росли. Йохо ставил это в заслугу плоду, который, сформировавшись, принимал все более деятельное участие в сеансах. Зейда капризничала, протестовала, но сделать ничего не могла: Йохо достаточно было уставиться на нее безотрывным взглядом, и она подчинялась. Что-то в ней срабатывало помимо ее воли. То же самое происходило и с Яйтером, которого все меньше заботила спиритическая самодеятельность – его мысли были заняты совсем другими вещами. Йохо, однако, приобрел над обоими несокрушимую власть.

– Чего ты добиваешься? – спрашивал Яйтер.

– Ясности, – лаконично отвечал Йохо.

Он не оставлял попыток разжиться сведениями окольным путем и выпытывал информацию у тех, что приходили, коли уж не было жаркого. Ставя каверзные вопросы, он тщился выведать что-нибудь о себе и своих компаньонах; ему отвечали едва ли не на любые вопросы, касавшиеся прошлого, а иногда и будущего, но только тогда, когда эти материи не имели отношения ни к нему, ни к Яйтеру и Зейде.

Иногда ответы ненастоящих приводили в глубокое замешательство.

Некий Петр Андреевич, например, заявил, что ничего еще не было и все еще только будет.

А Павел Николаевич, его неразлучный приятель, утверждал, что все уже было и больше не будет ничего.

Они поругались:

– Что это за стих на вас нашел, сударь? – негодовал Петр Андреевич.

Павел Николаевич отрезал грозно и непонятно:

– Жду вас на палубе.

Йохо замахнулся на них молотком, и оба смолкли, повалились на колени, послушно подставили головы.

– Оставь их, – попросила с постели Зейда. Она лежала, еле видная лицом из-за огромного живота. Ножные вены вздулись так сильно, что топорщились густые волосы на бедрах и голених.

...Когда жаркий явился, никто не был к этому готов.

Ангел Павлинов и Дитер вели его под руки, путаясь в локтях.

Он был зряч и не был хром, но постоянно спотыкался, чему не могла помочь даже неполная материальность. Ему мешали ноги, несколько штук числом. Точнее говоря, шесть. Передние, заправленные в расстегнутые брюки, росли откуда-то из распухшей груди. Задние, голые, были одна короче другой: одна доставала до пола, зато вторая беспомощно взбрыкивала и силилась встать хотя бы на цыпочки. Боковые, в сатиновых трусах, семенили рядышком справа – не по штуке на каждый бок, а обе вместе; они заплетались и мешали друг дружке. Рук насчитывалось тоже шесть, все разной длины и все короткие; пять из них торчали из туловища, оживленно и автономно жестикулируя, а шестая вытягивалась из шеи, похожей на грубую колоду, и поочередно указывала властным перстом то на юг, то на север. Лиц было три штуки; два почти слились в одно, а третьему недоставало совсем чуть-чуть, чтобы выделиться в отдельную голову. Две самостоятельные бородки соединялись перешейком под квадратными усиками; три глаза на общем лице сверкали из-под обожженных бровей, два из них защищались моноклями. Два рта продолжали друг друга, образуя кривой кровавый разрез. Обособленное лицо оказалось повернутым против часовой стрелке на сорок градусов. Нос у двойного лица казался латунным, а у отдельного – обычным, хотя и несколько длинноватым. Стрижка «под горшок» и никакой одежды, помимо названной. Гениталии отсутствовали; по торсу вертикальными рядами шли коричневые соски, похожие на бедняцкие пуговицы. Всего было два ряда. От гостя исходил холодный жар.

Двигаясь, он отрывисто приговаривал:

– А! А! А!..

Ангел и Дитер вывели его на середину комнаты, отпустили, отступили в стороны.

Самостоятельное лицо поискало глазами стул. Видно было, что гость не привык стоять и отчитываться.

Жаркий закашлялся, полетели кипучие брызги.

15

Оффченко был удивлен, когда на его телефоне высветился номер Йохо. Поднадзорные звонили чрезвычайно редко, инициатором бесед обычно бывал сам Оффченко – то есть тот, кому по штату и положено инициировать беседы с переводом их в опасное для собеседника русло.

Оффченко шел по Шпалерной, и вот в кармане его полушубка запищал «Тореадор». В кои-то веки раз эта мелодия оказалась уместной, подобающей случаю, но обладатель телефона не распознал чуда, не увидел символического совпадения – как всякий человек, привыкший думать, будто чудо обязано быть грандиозным, и не замечающий тысячи мелких, зачастую – недоброжелательных чудес у себя под носом или у себя в кармане.

– Слушаю вас, Йохо! – бодро и радостно воскликнул куратор, не сбавляя шага. Фальшь настолько укоренилась в нем, что он сам искренне полагал неподдельными бодрость и радость.

– Внимательно слушай, сука, – голос персонального пенсионера от ярости истончился, а интонация перекосилась, уехала вверх.

Оффченко остановился.

– Да, в чем дело? – осведомился он заботливо и тревожно, словно не заметил оскорбления. Многие, очень многие отчаянно пугались, когда присутствовали при такого рода смене тональности.

– Я тебя размажу, тебе конец, тебя порвут и сожрут, я сам тебя порву и сожру, – сказал Йохо и отключился.

Оффченко постоял, рассматривая притихший телефон. Аппаратик торчал из горсти, чуть ли не пожимая гладенькими плечами в доказательство своей непричастности. Затем куратор метнулся на проезжую часть и замахап рукой, ловя машину. Москвич-«баклажан» удовлетворенно замигал, притормозил; ввалившись в салон, куратор сильно огорчил и разочаровал водителя.

– Литейный, 4, – проскрежетал Оффченко.

Глупый бомбила попытался протестовать:

– Тут же рукой подать! вон он стоит... – Он хотел вразумить пассажира, имея в виду Большой Дом.

– Я непонятно выразился? – Оффченко развернулся на сиденье.

Минутной заминки хватило, чтобы случилось непоправимое.

Кто-то рванул дверцу, схватил его за ворот и потащил наружу.

– Что такое? – Оффченко не успел удивиться. Йохо швырнул его на тротуар, ударил ногой по лицу.

«Москвич» рванул с места со скоростью перелетного средства из фантастического кино.

Йохо ударил еще раз, подхватил слабо сопротивлявшегося куратора под мышки и утянул в ближайший подъезд. Прохожих почти не было, а те, что обозначались, спешили пройти мимо. В подъезде Йохо приподнял жертву, поставил на ноги и с силой припечатал затылком к стене. Норковая шапка смягчила удар, и крови не было. Оффченко закатил глаза, коротко выдохнул и повалился на Йохо. Тот переместился правее, приобнял Оффченко за плечи, увлек обратно на улицу.

– Во набрался-то, мой братан! – заулыбался Йохо в ответ на подозрительный взгляд очередного лихача.

Тот хотел отказаться, но Йохо уже заталкивал свою ношу в салон.

– Два счетчика, – пообещал он. – Или что у тебя там. Нам недалеко.

Оффченко замычал и попытался оттолкнуть навалившегося Йохо, и Йохо неприметным, но энергичным движением заставил его расслабиться. Шофер то и дело поглядывал в зеркальце, ловя заискивающие и ободряющие улыбки с заднего сиденья. В какой-то момент он увидел совсем не улыбку, а свирепый взгляд растрепанного, гривастого павиана. Губы Йохо что-то беззвучно бормотали, и водитель, имея он возможность прислушаться, сумел бы разобратъ: «Ёхой меня назвали? Да? Ёхой? Ухой?.. Созвучно, молодцы...» Оффченко снова пошевелился, и Йохо, уже громче, поклялся «уделать его прямо здесь». Не в силах унять себя, он было приступил к выполнению клятвы, однако ему помешали обстоятельства: автомобиль остановился возле дома, в котором жил Яйтер.

Набережная была пустынна. Заснеженные лодки, пойманные льдом, напоминали фисташки в мороженом. Канализационного вида полынья приютила недовольную утку.

Налетел ветер, пронеслась поземка; Йохо потащил Оффченко волоком, и тот потерял шапку. Похититель оставил его лежать в снегу, прицелился, нанес головному убору футбольный пинок и выбил эту дорогую вещь на лед похолодевшего канала, несвежий и нездоровый. Ветер трепал волосы Оффченко, из разбитой губы текла тонкая красная струйка. Покончив с шапкой, Йохо в очередной раз ударил Оффченко: с разбега, носком под ребра. Полушубок не спас, и куратор, не приходя в достаточное сознание, задохнулся от кашля.

Йохо поволок его за шиворот, бормоча:

– Сейчас отвечать будешь, гебежное чмо.

Парадная дверь была распахнута настежь. Мельком оценив смертоносные сталактиты сосулек, Йохо втащил тело в подъезд, макнул лицом в чью-то свежую, еще не замерзшую лужу.

– Вставай! Ползи на карачках, падай!

Удивительно, но Оффченко пришел в себя и понял. Стеная, он кое-как утвердился на четвереньках и тронулся в тяжелый – последний, как он догадывался, путь. Стоило ему одолеть пару-другую ступенек, как сзади налетал Йохо и бил в промежность.

– Постойте... – прохрипел Оффченко. – Вы думаете, вам это сойдет с рук – забить офицера госбезопасности? Дайте мне сказать...

– Дам, – с готовностью согласился Йохо прежде, чем ударить вновь. – Потом. Мы еще даже на второй этаж не поднялись, а нам надо выше.

Здравомыслие несчастного дошло до него позднее.

Руки куратора подломились, и он растянулся, не добрав до площадки самую малость. Йохо забежал вперед и вцепился ему в волосы:

– Шевелись!

У Оффченко вывернулась шея так, что ему стали видны обугленные почтовые ящики. Это зрелище совпадало с полусознанным ощущением смертности всего и вся.

Где-то наверху гроыхнула дверь и голос Яйтера спросил, распространяя холодное эхо:

– Это ты, Йохо?

Тот задрал голову:

– Спускайся, поможешь. Захвати какой-нибудь шнур, мы ему ошейник спроворим.

Яйтер затоптал вниз по лестнице; при виде полумертвого Оффченко он всем своим существом попытался выразить неодобрение и нежелание участвовать в дальнейшем. Йохо подступил к нему с кулаками, приказал:

– Бери его за ноги, принимай.

Помявшись, Яйтер взял куратора за щиколотки. Йохо, тешивший внезапно пробудившуюся лютость, снова сграбастал белокурую шевелюру. Оффченко оторвался от промерзшего пола, качнулся в воздухе, застонал. Почетные пенсионеры персональной важности понесли его наверх, на запланированную очную ставку.

16

Жаркий сидел, сочась волдырной жидкостью.

Заурядные ненастоящие выстроились, как и прежде, по периметру комнаты, но теперь подтянулись на манер кинематографических нацистских часовых: ноги широко расставлены, руки заложены за спины, подбородки задраны. В своих толстовках, латах, рубище и современных костюмах они могли показаться уморительными, когда бы не мертвая тишина, подкрепленная бездыханностью и незрячими взорами. Но все же создавалось впечатление, будто они кого-то пародируют. Жаркий, принимая почтительные стойки на свой счет – неизвестно уже, за какие заслуги, не усматривал в них ничего смешного. Он, кое-как оседлав табурет, поминутно заходил лаем в попытках донести нечто внятное до Йохо и Яйтера.

– Гла-гла-гла, – вскипел жаркий, делая отчаянные и бессмысленные жесты.

– Спокойнее, старина, – Йохо бочком приблизился и осторожно вытянул руку, намереваясь ободряюще похлопать жаркого по округлостям, заменявшим обычные плечи.

– Хла! – взвился тот, отшатнулся.

– Не трогаю, – Йохо поднял пустые ладони. – Сиди себе с миром. Соberись. У тебя получалось.

– Правое полушарие! – выпалил жаркий.

– Полушарие чего? – Йохо немедленно ухватился за первые вразумительные слова жаркого. – Мозга? Жопы? Земного шара?

Жаркий жалобно заскулил, тряся бородками; монокли вывалились, и он ловко поймал их короткопалой рукой, росшей из шеи. Головы утвердительно затряслись.

– И то, и другое, что ли? – пытал его Йохо. – И третье?

– Д-да, – удовлетворенно выдохнул жаркий.

Гривастый пенсионер торжествующе обернулся к Яйтеру:

– Вот увидишь, нынче он разговорится! Зови сюда Зейду.

– Она в туалете, – возразил Яйтер.

В последние недели беременности Зейда страдала недержанием мочи. Она очень подурнела; плодоношение внезапно выявило ее истинный возраст. Тугая кожа сделалась дряблой; груди опустились чуть ли не до лобка, на щиколотках расцвели язвы. Под глазами набрякли мешки; Зейда стала невыносимо раздражительной и сварливой. Она проклинала Йохо, а заодно и более покладистого Яйтера, за сеансы, которые высасывали из нее, как она утверждала, кальций.

– Зассыха, – беззлобно и тем более оскорбительно усмехнулся Йохо. И сразу позабыл о Зейде, потому что жаркий вновь изготовился вести речи.

– Вы нужные, – объявил жаркий, давясь лаем, над которым мало-помалу приобретал власть. Головы говорили хором, но голос получался один: все более отточенный тенор. – Ваше правое полушарие... – Он поморщился, как бы от боли.

– Нездоровится? – ужас и участие смешались в вопросе Яйтера.

– Они поют, – буркнул жаркий.

Действительно: фоном звучал очень далекий, ликующий хор.

– Наши жены, – пояснил жаркий. – Ау, гау!... Они все здесь. Они... поют в хоре при пролетарском обществе... – Слова ползли из него с невероятным трудом. – Обществе сознательно овулирующих женщин...

– Вы женаты, – обрадовался Йохо, который – во всяком случае, внешне – ни капельки не боялся жаркого и держался с ним по-свойски, деловито и конструктивно. – Но вы не успели представиться... Я не знаю, с кем имею честь...

Жаркий неожиданно захрюкал, завыл, вскочил с табурета и дважды обежал вокруг него.

– Вы нужны нам, – эта фраза едва пробилась сквозь какофонию физиологических звуков. Воздух в помещении нагревался, ненастоящие подрагивали – целокупно, без волевого участия членов. Послышался шум спускаемой воды: можно было ждать Зейду, но она так и не появилась. – Вы должны нас судить. Мы не можем здесь больше. Я не могу здесь больше. Многие не могут здесь уже. Другие не могут судить. Зэка не годятся. Никуда не годятся. Ни на что не годятся. Вы можете засудить, рассудить, осудить, у вас правое полушарие. Меня зовут Иванов.

– Весьма польщен, – Йохо встал и отрывисто поклонился. – А по батюшке?

– Иегуда... Иегуда... Толя! – заорал жаркий. – Тоооооля!... Тоооооля!...

Произнося это имя, он будто квохтал, кудахтал. Из черепа пополз огнедышащий гребень: сперва – петушинный, затем – как у индюка, нависающий. Йохо чуть побледнел и отпрянул. Голая голова Яйтера блестела, словно ее только что вынули из-под душа. Оффченко, давно потерявший сознание, валялся на полу, неожиданно грузный и обрюзгший – как и Зейда, постаревший, выглядевший много старше своих лет.

Ненастоящие принялись беззвучно маршировать на месте.

– Луначарский, – ясным голосом представился жаркий.

Одна из пяти туловищных рук взлетела, сгребла бородку при автономной голове.

– И группа товарищей, – поправился жаркий.

– Ягода Генрих Григорьевич, – сказал он сразу после этого. – И группа товарищей. Среди них Иванов.

– Вы трое в одном, – догадался Йохо и, не в силах сдержать возбуждения, ударил себя по бедрам.

– Разве? – в тоне жаркого обозначилось нечто похожее на удивление. Похоже было, что он не всегда осознавал свою множественность. – Он будет докладывать, – решил жаркий, указывая

на Оффченко тремя десницами и одной шуицей. – Бейте его. Он скажет вам. Потом убейте его. Судите его. Потом судите меня и нас.

Жаркий развернулся на табурете, лицами к ненастоящим. Те, видимо, ждали специального приглашения: они завyli ледяным воем, повторяя на все лады: «Бейте его, он скажет вам, потом судите его, потом судите их и нас».

– Потом судите всех, – жаркий привстал, склонился над Оффченко. Все три или два с половиной лица исказились от горя, натолкнувшись на невозможность самостоятельного физического контакта.

– Не печальтесь, почтенные, – Йохо тронул Яйтера за рукав. – Сходи в ванную, принеси ведро воды.

Яйтер, полагая, что вода нужна для охлаждения жаркого, покорно встал, сомнамбулически прошел в ванную, вернулся с ведром. Йохо принял емкость, но жаркого не побеспокоил. Вся вода досталась Оффченко, который захрипел и дернулся, заработав очередной пинок.

– Не надо, – попросил Яйтер.

– Я хочу полежать, – объявила Зейда, входя с подолом, так и задраным к пояснице. Он зацепился за кушак просаленного халата. – Я устала от вас.

– Говори, – приказал Йохо, не слушая никого. Он присел на корточки, взял Оффченко за разбитый подбородок. – Говори, тебе сказано.

Оффченко пошамкал. Оффченко заговорил.

Часть вторая. Виноградник

1

Ему приснился граммофон.

Вся беда заключалась в том, что эту штуковину никак не удавалось завести: ни ручки, ни кнопки, ни рычага. Запустить граммофон было крайне важно, от этого зависело выживание – и не только земное, но и в качестве бессмертного божественного замысла. Он обнимал граммофон, шептал ему укоризненные слова, а тот согласно кивал почему-то гибким, словно слоновье ухо, раструбом. Время, однако, летело; покуда он хлопотал вокруг граммофона, другие предметы домашнего обихода начали таять. Бюро красного дерева поблекло, у рояля подогнулись ножки, а из напольных часов с боем вывалился тяжелый маятник. Судьбоносный граммофон приходилось поминутно бросать на произвол судьбы и метаться то к одному, то к другому объекту; пальцы соскальзывали, не осязая материи; пол выгибался горбом, становясь осыпающейся паркетом полусферой; маленькие декоративные слоны из собственной кости лопались; самовар двоился и грозно вытягивался в медные трубы, где бушевал огонь и клекотала вода.

Сон был тревожный, но и приятный.

Константин Архипович знал, что дальше этого сна уже ничего не будет, а если и будет, то он не поймет, а если и поймет, ему будет настолько безразлично и чуждо последующее, что в этом, пожалуй, и приоткроется вечное блаженство, которого он, человек грешный, никогда, по своему глубокому убеждению, не заслуживал. Он, наконец, согрелся: холод отлетал, оборачиваясь жаром. Горело лицо, горели руки и ноги, и только в сердце сидела еще, чуть жива, микроскопическая ледяная сосулька. Раструб граммофона расширялся и сужался, бухая басом; он даже немного подпрыгивал, тот граммофон.

– Не спите, – донеслось издалека.

Константин Архипович раздраженно поморщился: кто-то растирал ему щеки наждачной бумагой. Холод, повисший в отдалении, потянулся назад и стал оседать на губах и веках.

– Вы умрете, Фалуев, – твердил Лебединов, настойчиво тормозил его, дергал за уши, прихватывал синими пальцами кончик носа.

Он шевельнулся и сразу вспомнил, что стеснен в движениях; товарищи с бывшими господами, попутчики и сочувствующие лежали вповалку, смешавшись с затаившимися врагами.

– Слабость какая, – прошептал он, и слова сложились тоже слабые, невесомые, в виде облачка морозного пара. – Я совершенно ослаб.

– Все, кто живут – сильные, – донесся сиплый голос отца Михаила, в недалеком прошлом – священника при церкви, внутри которой они теперь находились.

Некто, лежавший близ Фалуева кулем и не представившийся, хотя случаев для этого за сутки выпало предостаточно, приподнялся на локте и стукнул соседа кулаком по спине.

– Лежи тихо! тепло выходит, вражина.

Константин Архипович, присевший было, повалился назад. У него еще хватило сил на вымученное ироническое замечание:

– Да, люди и народы – братья...

– Но чаще сводные, – согласился с иронией Лебединов.

...Церковь, стоявшая на заснеженной горюшке, была бы вполне лубочной, однако при ближайшем рассмотрении выяснялось, что она сильно побита пулями. Орудия, из которых велся обстрел, имели калибр от самого мелкого, подходящего дамским пистолетам, до крупного, приличествующего пулеметам.

Стрельба велась и сейчас, но уже – по воронам.

– Вороны – пролетарии среди птиц, – осторожничал и сомневался красноармеец Шишов.
– Нет, – возражал красноармеец Емельянов, передергивая затвор. – Они попутчицы, а то и мироеды, а настоящие пролетарии – воробыи.

– А голуби? – Шишов, успокоенный, целился в самую гущу пернатых, что в панике суетились разорванным облаком и не знали, куда податься.

Емельянов на миг задумался. Он недолюбливал голубей.

– Какие-то прихлебатели, – молвил он неуверенно. – Но точно не сочувствующие.

– Говорят, что голуби – птицы мира, – слово «мира» потонуло в грохоте, и очередная ворона шмякнулась наземь, подобная черной рукавице.

Эхо от выстрелов разлеталось далеко, вылизывая пустые поля ударными звуковыми волнами. Далекая березовая роща вздрагивала своим полосатым скелетом; солнце мутилось пасмурной дымкой. Из церкви доносился не то чтобы разноголосый гул, но будто шелест и шорох; двери храма были распахнуты для лучшего надзора за пораженными в правах и обязанностях – из последних оставалась лишь одна: лежать или, скажем, сидеть и ждать перемещения в штабель, где тела – ранее в пестрых одеждах, но после смерти почему-то все в черных, словно цвет, питаемый живым носителем, осыпался с них осенним прахом, – итак, где неназванные тела были свалены, как отслужившие железнодорожные шпалы; с этим штабелем соседствовал другой, образованный какими-то досками, которые в лучшие, а то и в наступившие времена привезли с неизвестной целью и позабыли за ненужностью созидания.

Кто-то возмущался:

– Ныне, знаете ли, не девятнадцатый год!.. Надо, граждане, составить бумагу. Террор уж давно отменили... только-только наладилась жизнь...

Те, кому двадцать седьмой год представлялся не столь безоблачным, помалкивали. Некоторые изнеможенно сквернословили, проклиная неведомо чью классовую близорукость, попустившую захватить своих, близких.

Константин Архипович Фалуев умирал – так он сам, во всяком случае, расценивал свое дремотное состояние, забытье. Теперь ему виделись старые театральные афиши, укутывавшие ныне обесславленные, ободранные тумбы; ему грезились пруды, чистые и не очень; скользящая лодка, кружевной зонтик, а еще – два больших чайника, пироги, сточенный хлебный нож и карточный веер в незнакомых изящных руках. Фалуев замерзал, отдавая зиме последнее тепло. Посреди церкви, поставленная будто бы в издевательство – при распахнутых-то дверях – торчала железная печка; у тех немногих, что расположились возле нее, лица розовели ядовитым румянцем: они жадно вдыхали дым и постепенно упитывались угарным газом. Печка служила центром живой окружности; кругов было много; чем дальше было от центра, тем меньше прока было от зипунов, тулупов и телогреек.

Все это были задержанные для выяснения; выяснять не спешили, ибо в недолгом пути успели-таки затеряться некие бумаги, да и выяснилось бы одно: поголовно, скопом и чохом – на Север; поэтому всех, по старой привычке, согнали в церковь и, похоже, прочно забыли: не давали ни пить, ни есть, а некоторых от скуки стреляли, когда конвою надоедало палить по воронам. На внутренних стенах храма виднелись кровавые росчерки и кляксы на высоте роста среднего взрослого человека. Мороз исправно приглушал затхлый запах, который тянулся легкой смрадной ниточкой, обещая неизбежную смерть. В алтаре назначили быть нужнику, куда многие отказывались ходить, предпочитая оправляться на месте; таких изгоняли из круга внутреннего во круги все более и более внешние, на периферию, откуда Шишов и Емельянов выдергивали особенно провинившихся и пускали в расход за саботаж и контрреволюционную антисанитарию.

2

Было несколько человек, с которыми Фалуев успел близко сойтись: Лебединов; неясных дел разночинец – будто бы литератор; бывший преподаватель гимназии Боков, слишком громко и в любом случае – запоздало негодовавший по поводу упразднения еров и ятей; отец Михаил и Двоеборов, делопроизводитель, имевший несчастье напортчить в документации – да так, что в его небрежности признали умысел и заподозрили – а, следовательно, и обвинили – в заговоре. Очутившись в неволе, все пятеро очень скоро утратили наружную индивидуальность и сделались похожими друг на друга, рознясь лишь бородками и бородами. Константину Архиповичу, непривычному к лишениям в силу особой изнеженности и склонности к умственному труду, пришлось ту же всех. Доктор по роду занятий, он, совершенно для себя неожиданно, был обвинен в сочувствии и пособничестве недобитым эсерам, а то и кому похуже. На первом же допросе, длившемся минуты три-четыре, ему разбили лицо и посулили такие страшные вещи, что Константин Архипович не воспринял угрозы, не пропустил их через себя. Теперь он быстро угасал, все реже выплывая из морока. Их компания располагалась в одном из внешних кругов, далеко от печки; растирания, щекотка и шлепки больше не помогали.

– Исповедуйте его, – не попросил, а приказал отцу Михаилу преподаватель Боков.

Тот без лишних слов перебрался поближе к Фалуеву и шепотом пригласил открыть душу. Но Константин Архипович ответил новым потоком бессвязных и сентиментальных воспоминаний. В его сумбурных речах сквозила жалость к себе, вызванная событием мелким и не способным к пробуждению сильных эмоций: он вспоминал, как рассыпал лото, маленькие бочоночки, хранившиеся в самодельном мешочке. В сложившихся обстоятельствах сообщение о лото казалось уместным не больше, чем вдумчивые беседы о георгинах и флоксах.

Лебединов покачал головой:

– Очень некстати нахлынуло. Или, может быть, напротив – ко времени?

Фалуев переключился на рассказ о дочкиной пукле: именно так она именovala свою любимую куклу – фарфоровую, богато наряженную.

Двоеборов сидел рядом и сосредоточенно дышал на пальцы. Ничто не выдавало в нем способности к бездумному и опасному героизму, который открылся в нем спустя какие-то пять минут. Делопроизводитель втянул кисти в рукава рваного пальто, поднял глаза и внимательно, спокойно огляделся. Вокруг него вповалку лежали угрюмые люди; кто-то пытался спать, кто-то ожесточенно и тихо переругивался, иные затаились, пристально созерцая ближайшую к себе спину остановившимися, невидящими глазами. Некоторые, воровато озираясь, что-то жевали и откусывали так ловко и поспешно, что никому не удавалось рассмотреть, от чего они, собственно говоря, откусывают. Лики святых, местами оскверненные и изуродованные, глядели торжественно: святые словно хотели показать, что пробил их час.

– Эй, вы! – невозмутимо и весьма отчетливо позвал Двоеборов.

Красноармейцы Емельянов и Шишов, увлекшиеся стрельбой, не сразу сообразили, что обращаются к ним. К тому же где-то затарахтело нечастое в той местности авто, и стражи развернулись посмотреть, кто пожаловал.

– Я к вам обращаюсь, буреветники, освобожденные пингвины, – повторил делопроизводитель.

Шишов лениво посмотрел, кто там гавкает возвышенным слогом.

– Собаки, – дружелюбно сказал Двоеборов. – Демоны.

Голос его, вполне миролюбивый, напоминал в то же время звучанием нечто подземное, горячее и грозное, готовое вырваться на поверхность вулкана.

– Молчите, – хором велели встревоженные Боков и Лебединов. Отец Михаил зашепшил с молитвами, догадываясь, что ему могут и не позволить закончить начатое.

– Ты нам? – спросил Емельянов с искренним изумлением. Он даже утратил свою обычную пролетарскую суровость и был готов на равных с Двоеборовым, дружески, посмеяться над казусом.

– Тебе, быдло, – подтвердил тот. – Посмотри, нелюдь, какой человек кончается.

Емельянов окаменел.

– Ты погоди, – остановил его Шишов, видевший, что брат по оружию сейчас испортит все дело скоропалительным и вполне предсказуемым решением. – Шлепнуть мы его успеем. Ну-ка, иди сюда! – крикнул он Двоеборову.

Двоеборов пришел в состояние иступления, для которого немощность Константина Архиповича стала последней каплей. Оно, при внешней невозмутимости, взорвалось, и дело-производитель пер на пушки не то что с сабелькой, а и вовсе без сабельки. Ему сделалось очень легко и свободно, ибо он перестал быть собой – а может быть, начал, однако новый статус был столь непривычен и летуч, что почти не осознавался. Двоеборов, следовательно, все-таки перестал быть собой. Впереди его ждало будущее, прочно и наглядно оформившееся в виде Шишова.

– Не трогайте его, – вмешался Боков. – Вы разве не видите, что он помешался?

– Блаженный, – вторил ему отец Михаил.

Емельянов, согласно кивая, заряжал опустевшую винтовку.

– Вы тоже к нам пожалуйте, – пригласил он, не отрываясь от своего занятия.

В церкви воцарилась тишина. Она нарушалась лишь потрескиванием печного огня, в котором, за отсутствием дров, догорали жалкие пожитки арестованных. Тем запретили брать доски из штабеля.

– Надо идти, – негромко сказал Лебединов. – Не все ли равно – раньше или позже?

Кряхтя, он поднялся.

– Мы выйдем! – закричал он. – Оставьте в покое больного. Неужели вам мало четверых?

– Вообще-то, господа, я никуда не собирался идти, – мрачно обронил Боков. – Но раз уж приходится...

В годы, минувшие после переворота, пока набирала силу новая власть, опасные словечки и выраженьица типа «господ» придерживались в запасе и высказывались все реже; теперь пропало.

Шишов не согласился с предложением.

– Считаю до двух, – сказал он. – А потом – на кого Бог пошлет. Тьфу, стерва!... Не Бог пошлет, а пролетарский гнев падет.

Прицелился в черную, копошащуюся гущу и стал художественно водить винтовку из стороны в сторону.

– Вы, вроде, из крестьян, – пробормотал Лебединов, немного знавший Шишова и Емельянова по обрывкам их бестолковых бесед.

Двоеборов пошел к выходу, перешагивая через тела. Многие с готовностью уворачивались, ворочались, освобождая ему дорогу.

– Чего провоцируете? – заорал кто-то от печки. – Выметайтесь по хорошему, пока остальные не пострадали! Хотите отмучиться – извольте, пути не заказаны...

Лебединов двинулся следом за Двоеборовым.

– Хворого, хворого захвати! – напомнил Емельянов. – Сейчас мы его вылечим.

– Может, оно и к добру, – прошептал отец Михаил, присел, подхватил Фалуева под мышки. – Вставайте, Константин Архипович, на все воля Божья.

...Они уже стояли на пороге, поддерживая Фалуева всем малым миром насилия, обреченным на разрушение, а стрелки шутовски расступались, освобождая проход, когда автомобиль, наконец, вскарабкался на горушку и остановился в сорока шагах от храма. Вслед за первой подъехала и вторая машина, более вместительная и свободная, не считая шофера. Из головного

авто выбрался сутулый человек в черной коже, при галифе. Его крупный нос и вздернутый подбородок тяготели друг к другу, дабы слиться в единую дугу. За первым гостем последовал и второй, мало чем отличавшийся от Шишова и Емельянова.

Тот, что был в кожаном и имел откровенно комиссарскую наружность, быстро пошел к церкви, машина на ходу какой-то бумагой.

– Вывести мне пятерых! – командовал он еще издали. Подойдя ближе, небрежно отрекомендовался: – Младоконь, особый уполномоченный подкомиссии. Вам разнарядочка на пять душ... э, да они уж собрались! – Он удивленно заломил фуражку, рассматривая мятежную группу, только-только обозначившуюся в дверном проеме. – Отменная у вас дисциплина, – похвалил он воинов, несколько не смущаясь их странной, заблаговременной и совершенно невероятной осведомленностью в своем прибытии.

Шишов и Емельянов особенным, минующим сознание чутьем смекнули, что матерьялу для развлечений у них предостаточно, тогда как похвалы начальства дорогого стоят, и лучше не перечить благодушно настроенному Младоконю.

– Прикажете освободить? – уточнил Емельянов.

– Ты, брат, слишком торопишься, – усмехнулся комиссар. – Передать, всего-навсего передать.

– Расстреливать будете? – с отчаянной смелостью прокричал Двоеборов, напрочь утративший охранительные инстинкты.

Младоконь усмехнулся вторично, на сей раз – полупрезрительно:

– Чтобы расстреливать, я слишком люблю – не вас, себя. Пятого верните назад, он скоро концы отдаст.

Лебединов понял, что им даруется отсрочка. Пока – за спасибо, чудом, без невозможных требований и сделок с бесами.

– Он просто замерз, – это было сказано настолько убедительно и проникновенно, что Младоконь почувствовал неприятное, необъяснимое раздражение. – Его достаточно согреть, и он себя покажет, такой крепкий, – сказав это, Лебединов прикусил язык: не умаляет ли он подобными откровениями ценности остальных?

Комиссар раскурил папиросу, бросил спичку, втоптал ее в хрустнувший снег.

– Грузи, – махнул он рукой и обернулся к сопровождавшему его солдату: – В конце концов, они ничего не говорили про больных и немощных. Верно я рассуждаю, брат Мамаев?

Мамаев вытянулся:

– Так точно, товарищ особый уполномоченный. Не говорили.

Все это напоминало волшебную сказку – вернее, главу из сказочной повести с предсказуемым концом. Но герои повести не думали о финалах, живя одним днем.

3

Из всех бумаг, какие приходилось подписывать Луначарскому, сегодняшняя казалась самой дикой, абсолютно немыслимой. С тех пор, как ему доверили просвещать освободившиеся от ига низы, он многожды сталкивался с человеческой глупостью и наблюдал ее в самых разнообразных проявлениях. Да что там «с тех пор» – еще в свою бытность учредителем итальянских школ с преподаванием по системе Монтессори, и раньше, во времена совместного с покойным Ильичем редактирования незрелых большевистских листков – он не уставал поражаться многообразию людской ограниченности, феерического идиотизма; Луначарский, человек образованный и культурный, почти физически страдал от таких соприкосновений.

Скрючившись в кресле, он попрочнее приладил пенсне и вчитался в подпись: «Илья Иванов». Может быть, провокация? Нет, не похоже. Письмо дышало неподдельным, детским, наивным энтузиазмом. Еще когда он пробовал себя на ниве драматургии... нет, этот опыт вряд ли

поможет. Луначарский сильно подозревал – а значит, подсознательно верил – в свою полную несостоятельность как писателя пьес. Откровенная издевка? «И ангелы ходили к дочерям человеческим... освободим обезьяну от гнета эксплуататорских пережитков...» Создавалось впечатление, будто образованный человек старой школы сознательно порет чушь, подстраиваясь под убогое мышление восторжествовавшего класса. Нарком поморщился, вспоминая при-
скорбное дело коммуны с Елагина острова, куда согнали ненужных и обиженных гумани-
та-риев. Очень, очень похоже. Но партия и правительство, подумал он, тоже не без юмора и могут
достойно ответить на высокомерную провокацию.

«..Метод искусственного оплодотворения дает возможность ближе подойти к ответу на вопрос о происхождении человека. С первых шагов научной деятельности я пытался осу-
ществить постановку опытов скрещивания человека и антропоидных обезьян. В свое время я вел переговоры с бывшими владельцами знаменитых зоопарков, однако страх перед Святей-
шим Синодом оказался сильнее желания пойти навстречу этому начинанию... Предполагаю, что советское правительство могло бы в интересах науки и пропаганды естественноисториче-
ского мировоззрения пойти навстречу в этом деле...»

Прежде, чем начертать нейтральную резолюцию, Луначарский отложил перо, отхлебнул чаю. Сколько он просит денег? Пятнадцать тысяч долларов? Нет, это положительно невыс-
казимо. «Копия сей докладной записки... Цюрупе...»

Он и Рыкову написал; тот не захотел связываться с красным профессором и переслал письмо Луначарскому:

«...Получение гибридов между различными видами антропоидов более чем вероятно... Мои попытки в дореволюционное время наладить работу в этом направлении не имели успеха. С одной стороны мешали религиозные предрассудки, с другой – для организации этих опытов требовалась исключительная обстановка...»

Луначарский потребовал соединить его с Цюрупой.

– Алло, – проямлил он в трубку. – Луначарский у аппарата. Тут у меня лежит письмо одного сумасшедшего... Да, Иванов... Как? Вы что же – согласились дать ему денег? Я пони-
маю, что почему бы и нет – но почему бы и да? Да, слог располагает к содействию, я согла-
сен... – Луначарский не без ехидства откашлялся. – В конце концов, почему бы нам не осво-
бодить обезьяну? Заодно... Да, мое дело – сугубо умозрительное... С коммунистическим приветом...

Какое-то время он сидел, стараясь вернуть себе достаточное самообладание. Он, разуме-
ется, не возражал против того, чтобы сознание проникло как можно глубже в материю. К нему уже приходили с предложением отменить времена года... Между прочим, податель прошения пишет: скрестил оленей с коровами, вывел оленебыка... скрестил крысу и мышь... чем черт не шутит?

Далеко не последним соображением в поддержку неизвестного Иванова было то, что вся тяжесть финансового ручательства ложилась на плечи Цюрупы; он же, Луначарский, одобрял предприятие с позиций научных и культурных.

Впрочем, он распорядился подготовить справку о фигуре просителя. Тот подписывался мало что Ильей Ивановым, но вдобавок и профессором, а Луначарский, не понаслышке знако-
мый с академическими кругами, такого не припоминал. Правда, Иванов был биолог, а в био-
логии нарком разбирался довольно плохо и никогда не был близок с ее развивателями. Све-
дения предоставили в кратчайший срок, и Луначарский прочел: «Илья Иванович Иванов... 1870 года... биолог-животновод... разработал теоретические основы осеменения сельскохо-
зяйственных животных... Синод запретил... Питомник „Аскания-Нова“... владелец – барон Фальц-Фейн... отказался финансировать сатанинский эксперимент...» Да, человек уважаемый и солидный. Не мальчик, как говорится, но муж.

«Я хочу его видеть», – вдруг решил Луначарский.

Получасом раньше он думал отправить бумагу в мусорную корзину.

– Будьте добры, пригласите товарища Иванова на беседу, – нарком всегда был исключительно вежлив с секретарями.

Отдав приказание, он задумался. Проект профессора требовал материала, и хорошо, если дело уладится стараниями волонтеров. Луначарскому не так-то легко было представить себе добровольцев, согласных послужить воплощению профессорских планов в жизнь. Однако Илья Иванович не замедлил представить письменные доказательства обратного: толстую пачку полуграмотных и восторженных писем, где выражалось пламенное желание употребить молодую силу на благо селекции. Нарком жил на свете не первый день и понимал, что никакие порывы не исключат в дальнейшем более или менее принудительного характера опытов. Скорее, они поспособствуют принуждению. «В смысле наказания? Нет, – Луначарский, будучи гуманистом, состроил брезгливую гримасу. – В смысле искупления – так, пожалуй, выйдет лучше».

Он поймал себя на том, что уже ищет пути реализации замыслов Иванова. Возможно, преждевременно. Ну, как проситель и в самом деле окажется безумцем? Да, заслуги; да, мировая известность. Но никто ведь не застрахован от умственного расстройства, особенно в наше переходное время. Помыслив такое, нарком поперхнулся чаем, недовольный направленностью своих рассуждений.

4

Профессор-биолог Илья Иванович Иванов немного не добирал до хрестоматийного образа представительного ученого старой школы. Виной тому был искренний, поистине революционный энтузиазм, который смягчил Луначарского и вообще расположил его к посетителю. Иванов еле удерживался на стуле, готовый вскочить, дабы восторженно, с непосредственностью ребенка посвятить очередного слушателя в свои необычные намерения. Луначарский подумал, что профессор, пожалуй, не покривил душой и был вполне честен в своем желании «освободить обезьяну». Иванов ухватился за популярную идею поголовного освобождения униженных и оскорбленных, как за веревку, брошенную ему с воздушного шара. У него не было времени разбираться в ее состоятельности; она работала, она шла на пользу дела, она отражала мировую эволюционную тенденцию – а значит, ее пристальное рассмотрение становилось делом второстепенным.

Нарком вертел в руках представленную секретарем справку.

– Вы, Илья Иванович, где нынче работаете? – спросил он осторожно, боясь породить какой-нибудь взрыв этим невинным вопросом. – В институте экспериментальной ветеринарии или на центральной опытной станции?

– Пока что и там, и там, – немедленно отрапортовал Иванов голосом звонким и четким. – Но думаю оставить станцию и полностью посвятить себя институту. На станции, знаете ли, моя деятельность ограничена ассортиментом. Одни только домашние животные...

Луначарский добродушно приподнял брови:

– Чем же плохо? Мне кажется, что в нашем молодом сельском хозяйстве работы – непочатый край... Какие же животные вам угодны?

– Высшие представители, к вашим услугам.

Хозяин кабинета озадаченно помолчал, размышляя о возможных услугах высших представителей животного мира.

– Высшие приматы, если я правильно понял из вашего ходатайства?

Иванов напрягся, опасаясь отказа:

– В том числе – самые высшие, товарищ народный комиссар. Выше которых природа пока что не распорядилась.

Луначарский вздохнул и вновь углубился в чтение.

– Крысу с мышью, говорите? – уточнил он. – И какой результат? Практическое применение?

Илья Иванович немного опешил, и Луначарский поспешил его успокоить:

– Вопрос сугубо риторический. Я понимаю, что это промежуточный этап. Более того – мне ясны и практические соображения, которыми продиктована ваша... м-м... необычная просьба. Выгода очевидна – для армии, для флота, для освоения земель... я правильно понимаю?

– Не совсем, – торжественно улыбнулся Иванов.

– Тогда просветите, – нарком откинулся в кресле. – Какая еще может быть польза от подобного гибрида? Исключая, конечно, соображения свободы и равенства.

Теперь вздохнул Иванов, но – с явным облегчением. Видно было, что он отменно подготовился и, наконец, дождался часа своего триумфа.

– Вам, товарищ нарком, наверняка известно о специфике устройства правого полушария у людей и животных. Основное различие заключается в том, что у низших видов оно функционирует в большей согласии с левым... они почти нераздельны, если позволительно будет так выразиться...

– Нет, – перебил его Луначарский. – Все это для меня совершенно ново. Я вас внимательно слушаю.

Профессор выдержал паузу, подчеркивая важность всего, чему надлежало быть изложенным.

– Анатолий Владимирович, – молвил он задушевно. – Простите, что обращаюсь неофициально, но значимость моих предположений требует ломки барьеров. Я думаю, что вы всяко наслышаны об удивительных способностях разного рода животных. Сильнейшим образом развитая ориентация в пространстве, поразительное чутье – как в смысле обоняния, так и в смысле интуиции. И многое прочее, о чем мы даже не догадываемся. У человека же, если воспользоваться прогрессивной терминологией, все эти функции угнетены, эксплуатированы чрезвычайно развитым левым полушарием, в ведении коего пребывают логика, способность к анализу, речь, планирование, реалистичное мышление. Что до правого, то ему отданы фантазия, анализ пространственных отношений – на это я попрошу вас обратить особое внимание! Успехи физики заставляют предположить существование многих пространств, помимо известных...

Луначарский слушал, не перебивая. Он пытался уяснить для себя связь между сказанным и притязаниями на крупную сумму в иностранной валюте. Илья Иванович увлекся и говорил с нарастающим пылом, помогая себе все более размашистыми жестами:

– Таким образом, мы с вами имеем ситуацию, которая именуется межполушарной асимметрией... Мы знаем по себе, что логико-словесное мышление преобладает у нас над абстрактным интуитивным...

– Простите меня, товарищ профессор, – не выдержал нарком. – Вы говорите о материях, в которых я никак не могу быть специалистом. Как государственный деятель я вынужден интересоваться исключительно практическим аспектом ваших трудов. Каким, по-вашему, образом планируемая гибридизация повлияет на эту вашу асимметрию так, чтобы вышла польза для народного дела?

Иванов запнулся, широко раскрыл глаза и развел руками:

– Воля ваша, Анатолий Владимирович – я сейчас не готов к ответу. Кто знает? Невозможно заранее сказать, какие именно способности разовьются – и разовьются ли они вообще. Но в том и состоит научный поиск... Согласитесь – это отважная, поистине революционная попытка вернуть человеку награбленное природой! Это великое дерзновение, сомасштабное духу эпохи...

Сам того не ведая, Илья Иванович нашел правильные слова. Луначарский не раз выслушивал от Сталина речи о необходимости «оседлать природу». Пока они высказывались устно, но в скором времени, как верно угадывал нарком, должны были появиться в напечатанном и обязательном к восприятию виде. Луначарский угадывал не только судьбу речей, но и значение, которое им будут придавать в недалеком будущем. Распоряжение оседлать природу являлось творческим развитием ленинской озабоченности, касавшейся той же природы, от которой «не следует ждать милостей».

Однако пока это только прожекты, фантазии, беременная былью сказка. Допустим, он, Луначарский, по внутренней склонности готов соболеznовать и помогать всему эфемерному, зыбкому, гипотетическому и отвлеченному.

Но Цюрупа?

Цюрупа ведал материальным и был, в отличие от него, весом, что подчеркивалось самой его фигурой.

«Как он его уломал?» – недоумевал нарком.

Впрочем, его это не касается, сделано – и с плеч долой. Луначарский предпринял последнюю попытку оправдаться перед екнувшей совестью, задав вопрос, касавшийся сфер нравственных:

– Но все-таки... вы не находите, товарищ профессор, что ваши идеи натолкнутся на ожесточенное и, что хуже, вполне понятное сопротивление? Замахнуться на несовершенное естество похвально, и все же моральных норм, пускай и устаревших, и обросших предрассудками и пережитками, никто не упразднял полностью... Мы даже боремся с перегибами в этой области...

Нарком уже заранее знал ответ, а потому не удивился и даже испытал не облегчение, а неудовольствие, когда Иванов посыпал уже ставшими прописными истинами о высокой цели, наличных средствах и нейтралитете науки на поле боя между абстрактными химерами добра и зла.

«За клоуна меня держит, за ваньку», – зло подумал Луначарский.

– *Левое* полушарие! – Иванов, предчувствуя победу, до того осмелел, что даже погрозил наркому пальцем, порицая левополушарную косность и недостаток воображения. Как ни странно, именно этот непочтительный жест ускорил дело, ибо по нему было видно, насколько увлекся профессор и увлекся искренне, до самозабвения, позабыв о природной наклонности власти карать и преследовать.

– Хорошо, – кивнул Луначарский и нехотя перечеркнул прошение косым «добром» за нарочито сдержанной подписью. – Вы пишете, что помимо добровольцев вам понадобится дополнительный материал, – добавил он, угадывая дальнейшие пожелания Иванова. «Ну, так и есть», – подумал нарком, когда наткнулся на соответствующие строки в прошении.

Илья Иванович прочувствованно раскинул руки – мол, никуда не денешься от этой надобности. Луначарский снова взялся за телефонный аппарат и попросил соединить с Ягодой.

5

Без малого через три года после этого разговора делопроизводитель Двоеборов, исчерпавший себя в самоубийственной выходке, послушно сел в автомобиль между Боковым и отцом Михаилом; Лебединов притиснулся справа, тогда как опального доктора Фалуева положили в ноги. У Младоконя, несмотря на полное согласие с ним Мамаева, оставались некоторые сомнения в Константине Архиповиче; он чуть было не пошел на попятный и не выбрал взамен какого-нибудь сравнительного здоровья. Положение спас Лебединов, некогда всерьез увлекавшийся синологией и знавший отдельные приемы, действенные в такого рода крайних случаях. Незаметно для комиссара, он нанес Фалуеву быстрый точечный удар, от которого

тот взвился, будто ужаленный, и ненадолго вернулся к бытию – пусть полусознанному, зато вполне приемлемому в физическом отношении. Он довольно бодро пошел своим ходом; Младоконь хмыкнул. Комиссар даже проникся неким подобием уважения к такой моментальной собранности, а потому, для закрепления эффекта, пошел на невиданный жест: угостил Фалуева спиртом из личной фляги.

– Черт с тобой, – решил Младоконь уже окончательно.

Шишов и Емельянов пасмурно перетаптывались. Обидчик и гадина, враг, соскальзывал с прицела безнаказанным, да еще жрал большевистский спирт. В храме нарастал ропот, раздавались отдельные выкрики: «Почему их?»; эти крики обрывались – не без помощи соседей, боявшихся, что криком они добьются участи худшей, хотя таковую трудно было вообразить. Многие предчувствовали, что часовые перетаптываются вовсе не пасмурно, а нетерпеливо, и приходили в ужас при мысли о действиях, которые тем, лишенным развлечения, хочется совершить.

Машины заперхали, подпрыгнули; пассажиры сидели смирно, находясь под присмотром бдительного Мамаева, который из комиссарского автомобиля пересел во второй, арестантский, на переднее сиденье. Теперь он сидел вполборота к несчастливым ездокам. Те, правда, еще не считали себя счастливыми, они боялись обмануться, помыслив определенность. Отец Михаил держался особенно кротко, ибо его вера в спасительность церковных стен подтверждалась; остальные не очень задумывались о высшем промысле и гнали от себя всякие мысли вообще. С ними и без того случилось много такого, что могло показаться злым чудом; той же церкви, куда их согнали, было достаточно. Быт, отчасти наладившийся после междоусобных бурь и уже успевший подернуться серым салом большевистской канцелярщины, отдававшим портянками и махрой, разъехался по швам. Им уже мнилось, что если и будут кого забирать и привлекать, то – по отдельности, не скопом, не стадом; подрасстрельное храмовое существование виделось им диким анахронизмом.

Выделенные из обреченной толпы, они постепенно вновь обрели наружную индивидуальность. Фалуев стал красен, он дремал, от него разило спиртом, так что Мамаев завистливо хмурился. Лебединов, в котором проступило что-то кавказское, тоже, казалось, воспользовался случаем вздремнуть; на самом же деле он только прикрыл глаза и лихорадочно размышлял над своей дальнейшей судьбой. Дымка рассеивалась, в морозном небе угрожающе пламенело пролетарское красное солнышко. Двоеборов тупо таращился на него, почти не шурясь; на его одутловатом, брыластом лице застыло выражение отчасти горестное, отчасти безучастное. Отец Михаил смотрел вперед с преувеличенной ясностью взора, как будто доказывая себе теперь уже окончательную понятность мироздания, его прозрачность, напоенную любящей мудростью. Не сиделось одному Бокову: он сопел, ерзал, озирался по сторонам и еле сдерживался, чтобы не обратиться к конвоиру с расспросами. Наконец, не выдержал:

– Скажи, голубчик... скажите, товарищ солдат, – поправился он. – Куда нас везут?

– Не велено разговаривать, – отозвался Мамаев. Он изрядно озяб и понемногу пропитывался злыми чувствами.

Младоконь, расслышав слова сквозь тархтение моторов, недовольно оглянулся. Мамаев застыл изваянием. Он сидел очень прямо, уперши винтовку прикладом в пол. Штык, зачем-то примкнутый, сверкал на солнце.

– Нас допрашивать будут, – в отчаянии проронил Двоеборов, не меняя выражения лица.

– Глупости, – сразу же вмешался Лебединов, на секунду приоткрыл глаза и раздраженно взглянул на мятежного делопроизводителя. – Им было все равно, кого выбрать. Вы, небось, мните себя важной фигурой?

– Работать заставят, камни таскать, – предположил Боков. – Главный хотел кого покрепче.

Лебединов немного подумал.

– Возможно, – согласился он.

– А доктора кончат, – Боков, крайне встревоженный и оттого бестактный, машинально перешел на матросскую лексику. – Вы поглядите на него, какие могут быть камни.

– Покормят, дай Бог, – пробасил отец Михаил.

– Это светлая мысль. Эй, служивый! – позвал Лебединов. – Нам поесть дадут, или как? Мамаев, на миг позабыв о комиссаре, возмутился:

– Харч на тебя, вражину, переводить... Моя бы воля...

– Из этого мы заключаем, – бодро сказал Лебединов, – что поесть нам, может быть, и дадут, коль скоро этот вопрос находится вне компетенции уважаемого воина.

– Не злите его, – попросил Двоеборов внезапным фальцетом. Его геройский порыв иссяк и казался сном. Не ради ли недолгой вспышки он жил?

Константин Архипович, съездившийся в ногах у товарищей, пробудился, приподнялся на локте, поглядел с пола шальными глазами.

– Где мы? – спросил он слабым голосом. – Куда мы едем?

Мамаев, к тому моменту взвинтивший себя крайне, процедил сквозь прокуренные зубы:

– На курорт, стерва... Рабочий человек надывается, а всякой вредной сволочи устраивают монплеzir.

Странно было слышать эти слова. Лебединов, поначалу не воспринявший известие о курорте всерьез, обратил внимание на неподдельную, завистливую ненависть конвоира и призадумался. Курорт не укладывался в голову. Пейзаж, однако, не оставлял сомнений: их везли на вокзал.

6

Ягода принял Илью Ивановича на даче.

Иванов, даже и обласканный двумя наркомками, явился к третьему не без сосущего холода во чреве, хотя этот последний даже не был наркомом, а числился, с позволения сказать, полунаркомом, всего-навсего заместителем председателя ОГПУ. Должность эта, впрочем, считалась настолько значительной, что покровители Ильи Ивановича сочли такую аудиенцию достаточной и не отправили профессора на самый верх – возможно, из боязни, в которой не признавались сами себе. Его доставили в служебном автомобиле, проверили документы, недоверчиво усмехнулись чему-то и неохотно пропустили с видом, которым будто хотели предупредить, что выпустят еще с большим затруднением. Дача, мирная и тихая, окруженная лиственницами и липами, выглядела типичным строением для развратного отдыха презренных мещан. На веранде был накрыт стол, стоял довольно старый, но роскошный граммофон. Самовар пылал жаром. Было, однако, пусто, ни души; из-за дома доносилась отрывистая, щелкающая пальба. Профессор на миг представил себе возможные мишени, и напроочь позабыл заранее приготовленную речь.

Солдат повел Илью Ивановича вокруг дачи; тот шел, похрустывал гравием и нервно перекладывал папку из руки в руку.

За домом открылся просторный участок; лужайка, непосредственно примыкавшая к зданию, была переделана в тир. К стволам деревьев были прибиты мишени: Николай Чудотворец, преподобные Антоний и Феодосий Печерские, князь Владимир и княгиня Ольга, Троеручица, святой Андрей Христа ради юродивый. У Генриха Григорьевича образовалась богатая коллекция икон, которую он хранил в специальном запаснике вместе с порнографическими открытками. Последних тоже скопилось немало, несколько тысяч.

Сам Ягода, с дымящимся наганом в руке, уже выбирался из огромного кресла, о прежней принадлежности которого профессору сейчас не хотелось думать, хотя он неизменно и с энтузиазмом одобрял разного рода реквизиции, касавшиеся поверженных слоев. Ягода был одет по-

домашнему: в гимнастерке, но без ремней; в шлепанцах на босу ногу. Положив наган на бархатное сиденье, он пригнулся и сделался до неприличия радушным, участливым и даже работящим.

– Илья Иванович, – забормотал он, спеша к Иванову с протянутой рукой. Усики, разделенные аккуратным пробором, сладко подрагивали. – Простите, что я по-простецки... Присаживайтесь, – Ягода метнулся к креслу, схватил наган, переложил его в карман галифе и чуть ли не силой усадил профессора в кресло; сам же стал прохаживаться, время от времени шурясь на иконы в попытке издали оценить результаты стрельбы. – Я в курсе вашего дела, – продолжил он и вдруг зычно закричал: – Моторченко, чаю нам! В сад, сию секунду!...

– Собственно говоря, вот, – Илья Иванович, которому было очень неудобно в кресле, раскрыл папку. Увидев это, Ягода замахал руками:

– Не надо никаких бумаг! я и без них на вашей стороне... Я слышал о ваших опытах. Мне одно непонятно: зачем вам арестанты, когда добровольцев – не перечесть? Мне докладывали, что вы породили настоящий ажиотаж. Сотни сознательных рабочих и крестьян готовы предложить свои услуги... вам недостаточно?

Иванов снял панаму, достал носовой платок, промокнул лоб.

– Генрих Григорьевич, – ответил он робко, боясь ненароком сбиться на «товарища Иегуду». – Во-первых – и это главное, – семенной фонд сознательных добровольцев является достоянием республики. Расходовать его было бы злостным вредительством. Во-вторых, мои изыскания показывают, что насилие повышает фертильность. Положительный результат иногда становится более вероятным благодаря эмоциям, которые создаются принуждением... Парадоксально, но факт: чем ожесточеннее сопротивление, тем выше производительность.

– Так и наши товарищи думают, – с удовольствием подхватил Ягода. – Чем яростнее сопротивляется враг, тем большая выйдет польза... тем более правым становится наше дело. Но вот что мне непонятно: на что вам деньги, когда некому будет платить? Неужели на одних обезьян? Я знаю, они нынче в цене, но все же пятнадцать тысяч...

Иванов отвел взор, встретившись с дырами на месте, где были глаза Чудотворца. Было нестерпимо жарко, он страшно потел.

– Деньги мне нужны на экспедицию в Экваториальную Африку, – ответил он по возможности твердо. – Закавыка в том, что годится не всякая обезьяна. Особенности строения клеток... – Иванов запнулся, не зная, сколь детально должно быть обоснование.

Генрих Григорьевич присел рядышком, на подлокотник.

– Не смущайтесь, Илья Иванович. В моем ведомстве случился даже переизбыток профессуры... – Он стыдливо и визгливо хихикнул. – По долгу службы слушаешься всякого... Так что я имею некоторое представление.

– Не сомневаюсь, – вырвалось у профессора. – Прошу прощения... Положение, если говорить коротко, следующее: сообщения, которыми я располагаю, повествуют о племени, где поощряются межвидовые браки. Какая-то местная религия, мракобесие... Но дело меняется тем, что упоминается потомство. В тех же краях обнаружены месторождения элементов... вы слышали о работах Кюри? – Ягода утвердительно и с почтением кивнул. Он слышал. – В общем, складывается впечатление, что лучи благоприятно сказываются на воспроизводстве и физиологии в целом. Я отчаянно нуждаюсь в тамошних особях. Кроме того, необходимо обустройство подобающего питомника в теплых широтах. Я имею виды на Сухум... во время оно мне отказали в Аскании, ссылаясь на церковников...

– Это мы уладим! – Ягода внезапно расхохотался, выхватил наган и послал пулю точнехонько в переносицу святого Андрея. У Ильи Ивановича заложило уши; ноздри расширились, помимо воли обоняя пороховой дым. – Передовая наука не потерпит... слышали, небось, что в Москве уже переделали в человека собаку? То-то же... Будет вам питомник, – в его голосе

вдруг обозначилась власть, и на миг проступил совсем другой Генрих Григорьевич, несовместимый с самоваром и дачной праздностью.

...Прибежал с переносным столиком толстый, крестьянского вида Моторченко; убежал, вернулся с подносом.

– Рюмочку, Илья Иванович? – гостеприимно предложил Ягода.

Иванов не посмел отказаться. Выпили мадеры.

– Так вот, – Ягода принял деловой вид. – С нашей стороны вы можете не ждать никаких препятствий – одно лишь содействие. Материала у нас предостаточно. Сколько попросите, столько и выделим – сотню, две, тысячу. Обо всех случаях саботажа и нежелания сотрудничать докладывайте лично мне. У меня к вам будет одна личная просьбочка... не откажите.

Профессор напрягся.

– Обезьянку бы мне, – заискивающе попросил Генрих Григорьевич. – Очень хотелось бы попробовать самому и тем внести лепту. Помоложе, а?

– Самца или самочку? – ляпнул Илья Иванович.

Ягода не обиделся, снисходительно улыбнулся:

– Самочку, какую-нибудь пампушечку. Наряду гимназисткой. Но это строго между нами, вы понимаете? Подписки не требую, дело довольно деликатное. Рассчитываю на ваше понимание.

Иванов, давно истребивший в себе предрассудок брезгливости, испытал слабое подобие головокружение. Ему отчего-то расхотелось пить чай, и он отставил чашку.

– Приложу усилия, – пообещал он. – Я верный слуга молодого отечества и готов сотрудничать с правительством во всех устремлениях оногo.

Профессор сдержал слово, так что Ягоде достались целые две самки, молоденькие, близняшки. Обе они искушали зампреда; это сыграло не последнюю роль в решении об аресте Ильи Ивановича шестью годами позднее. Как у подавляющего большинства людей, сознательно или подсознательно ожидающих пули, сейчас в лице Иванова помимо его воли проступило нечто мученическое, высокое, иконописное, а потому Ягода подумал, что – лично бы, с особенным удовольствием, поразил ему сперва левый глаз, а потом – правый.

7

Состав подобрался пестрый; пассажирские вагоны чередовались с товарными.

Младоконь поселил своих пассажиров в товарный вагон, где уже находилось человек тридцать; по своему виду вся эта публика безнадежно выпадала из мозаики благонамеренных элементов. Новое обиталище удручало: сено-солома, навозные кучи, холодные сквозняки – тем удивительнее был обед, накормили неожиданно сытно.

Фалуев полностью пришел в себя. Правда, он до сих пор наполовину мыслил себя в покинутой церкви – не разумом, но общим восприятием действительности, которое не спешило перемениться.

– Что думаете, Константин Архипович? – обратился к нему Боков. Было темно, дверь придвинули и заперли. – К лучшему оно обернулось или как?

– Не знаю, Василий Никитович, – честно сознался Фалуев и привычно поднес руку к лицу, чтобы поправить очки, но тех не оказалось.

Когда поезд тронулся, Лебединов устроился возле самой широкой щели, чтобы докладывать остальным о пути следования. Попутчики подобрались нелюбопытные, предпочитавшие жаться гуртом в середке; на место у щели, где сильно дуло, никто не претендовал, и Лебединов беспрепятственно следил за голыми лесами и белыми полями. Но вскоре не выдержал и он, покинул свой пост и перебрался поближе к товарищам. Их группа сделалась сообществом побратимов, а потому держалась особняком от остальных подневольных, которые не осо-

бенно и стремились к смычкам, глядели настороженно и в большинстве своем принадлежали к деклассированному сословию, еще не успевшему выродиться в уголовное.

– Двоеборов, возьмите себя в руки, – Фалуев, вернувшийся к жизни, немедленно взялся за привычное ему лечебно-профилактическое дело. – Эдак вы, голубчик, расхвораетесь. Тоска плохо сказывается на почках... К чему сокрушаться? мы теперь – как небесные птицы, не думающие о завтрашнем дне...

Делопроизводитель, еще недавно вступившийся за Константина Архиповича, отвечал не без иронии – только лицо оставалось прежним, безучастным:

– Никак вы, Константин Архипович, уверовали?

– А если и так – что здесь такого?

– Нам всем было знамение... я хотел сказать – вразумление, – подал голос отец Михаил. – И камень уверует – не потешайтесь, господин Двоеборов, над неопитством.

– И кто послужил орудием? – ехидно осведомился тот. – Товарищ Младоконь?

– Он, – серьезно кивнул батюшка. – Во храме Божьем, коему разрушену быть попущено, с соизволения Божьего оказались; Его же промыслом из храма вышли, как иудеи из плена Египетского...

– Вы не на амвоне, отец Михаил, говорите тише, – напомнил Лебединов. – И проще, как трудовой народ изъясняется. Не искушайте Господа-Бога вашего.

Двоеборов снизошел до легкой жалостливой мимики:

– Стало быть, наш освободитель, наш комиссар Младоконь – Моисей?

– Ничуть не удивлюсь, – поддакнул Боков, грешивший симпатией к «черной сотне», но, как ни странно, не упускавший случая поддеть отца Михаила. – Известно ли вам, сколько таких Моисеев к нам переправили германцы? Что там один plombированный вагон – эшелоны!.. Этот Моисей многолик... он потрудился в ипостаси Младоконя, теперь опекает нас в лице Иегоды Еноха Герцоновича... Скоро будет вам и неопалимая купина... да к сорока годам трудовых работ...

Фалуев оглянулся:

– Прекратите, господа. Не будьте детьми, на нас донесут.

– На нас и так донесут и уже донесли, – возразил Боков. – С Божьего соизволения...

...Паровоз набирал скорость, то и дело испуская гудки от переизбытка революционных чувств. Пейзаж не менялся, но Лебединов, вернувшийся к наблюдению, отметил, что поезд и в самом деле летит на юг.

– Сразу нас, во всяком случае, не кокнут, – произнес он задумчиво. – Иначе к чему такие путешествия?

– Не забывайте, что их действия иррациональны, – мрачно ответил Боков. – Запросто могут отправить на расстрел, скажем, в Сухум, и сами не сумеют объяснить, почему туда.

Впоследствии отец Михаил не преминул указать ему на факт ясновидения, ниспосланного свыше, так как Сухум – пункт назначения, названный наобум – подтвердился.

– Издержки переходного периода, – вздохнул Фалуев. – Когда все уладится и настроятся, начнут расстреливать в строго установленных местах.

– Не хватит мест, – усмехнулся Двоеборов.

– Россия велика.

8

Барон Фальц-Фейн, владевший заповедником «Аскания-Нова» и явившийся препятствием победоносному шествию молодой науки, давно перестал быть таковым, будучи взорван, подобно раздобревшему капитализму из поэмы Маяковского. Устранен и забыт. Его уголья были переделаны в Государственный степной заповедник, однако Илья Иванович уже поте-

рял интерес к обидчику, простил его и возымел виды на Сухумский питомник, добившись позволения свободно и безнаказанно в нем орудовать. Собственно говоря, как раз Иванов стоял у истоков будущей славы зоологической теплицы, в которой, когда советская цивилизация нагуляла жирок, активно выводили зверей-космонавтов и зверей-диверсантов. Сухумский субтропический климат вполне устраивал и самого профессора, и сознательных передовых граждан, рвавшихся в бой за победу прогрессивной гибридологии. Обезьянам тоже нравилась местная погода, да и ландшафт не вызывал возражений, хотя во многом отличался от привычного. (После бесславной кончины опального Ильи Ивановича, последовавшей в тридцать втором году, тем немногим, кто осмеливался писать ли, рассказывать устно о Сухумском питомнике, заткнули рты. Тема питомника, в силу особенностей продолжавшейся в ней работы, стала табуированной и смертельно опасной).

...Итак, обезьяны были доставлены из Французской Гвинеи, куда профессор съездил в двадцать шестом году.

Об этой экспедиции впоследствии бурно и без толку говорили; у многих ее результаты вызывали недоумение. То, что нищая республика нашла-таки средства на приобретение обезьян, когда в стране не хватало хлеба, удивляло не многих; от коммунистов видели и не такое. Плачевный итог экспедиции был также предугадан: еще в сентябре двадцать пятого года Илья Иванович огласил свои планы на заседании физико-математического отделения Всесоюзной Академии наук. Он доложил о проделанной им работе по видовой гибридизации млекопитающих, после чего попросил у коллег разрешения посетить Французскую Гвинею. Коллеги в ужасе убедились, что профессор и в самом деле собирается воспользоваться базой Пастеровского института для скрещивания человекообразных обезьян с человеком. Мнения разделились, но возобладали скептические. Наука стояла на том, что межвидовая разница чересчур велика для успеха; о нравственной стороне дела говорили мало и неохотно, предвидя вполне вероятное одобрение предприятия Совнаркомом – тем и кончилось. Совнарком дал добро и выделил деньги, а потому Илье Ивановичу не было никакого резона считаться с воззрениями коллег.

Все это, повторим, было не так удивительно, поражало другое: несмотря на полное фиаско, которое Иванов потерпел в Африке, и невзирая даже на то, что все приобретенные обезьяны передохли в пути, профессор не воспользовался удобным случаем остаться за границей, во Франции, где отдыхал, от трудов утомившись, совместно с сыном, которого брал с собой в экспедицию и который там пострадал, укушенный, покалеченный, от клыков претерпевший. Профессор вернулся в Россию как ни в чем не бывало и с новой энергией взялся за пропащее дело. Его не только не арестовали и не убили, но сразу же доверили ему питомник и обеспечили человеческим материалом, малая толика которого, в соборном лице Фалуева, Лебедина, отца Михаила, Бокова и Двоеборова, мчалась через простуженные пустоши к обещанному теплу, морю и пальмовой зелени.

Эта невозмутимость, эта уверенность в личной безопасности объяснялась довольно просто. Африканская экспедиция Ильи Ивановича имела секретный аспект; кажущаяся безуспешность служила ширмой, завесой, призванной ввести в заблуждение многочисленные иностранные разведслужбы, живо интересовавшиеся изысканиями профессора. Десятком обезьян, приобретенных официально и не без помпы, пожертвовали легко. Легко распространялись и об отказе туземцев сожительствовать с приматами несмотря ни на какие посулы; о главной, тайной стороне дела молчали. В действительности туземцев никто и ни о чем не спрашивал, их желанием никто не интересовался. И в этом не стоило обвинять ни профессора, ни кого бы то ни было еще; во всяком случае, не его одного. Сама природа, властвовавшая в той местности, распорядилась причудливо и жестко: обезьянье племя, соседствовавшее с людским, издавна похищало дочерей человеческих, и эта практика легла даже в основу некоторых культов. Приматы, крашие женщин, во многих отношениях отличались от обычных шимпанзе и горилл,

причиной чему являлись те самые лучевые воздействия, которые Иванов помянул в беседе с наркомом Луначарским. Эти насильственные браки не были бесплодными, они приводили к рождению на свет выносливых и жилистых, в подавляющем большинстве стерильных уро-дов, которые жили на удивление долго при добром общем физическом здоровье. Задача экспедиции состояла в том, чтобы завладеть именно такими, отличными от других экземплярами обезьян, а также особями, от них рождавшимися, однако в последнем намерении профессор не преуспел: гибридизированные существа оказались для него слишком хитрыми и ловкими. Пришлось обойтись двумя десятками их обезьяньих родителей, которых и отправили тайным грузом, окольной дорогой непосредственно в Сухум.

Особые надежды возлагались на предводителя, крупного самца, которому забавы ради подарили человеческую фамилию «Курдюмов». Самец не брезговал ни мужчинами, ни женщинами. Откуда взялась фамилия и какие неприязненные чувства питались профессором к ее неизвестному исходному обладателю, осталось тайной. Нельзя исключить, что она явилась Илье Ивановичу во сне как феномен ясновидения, и тот узрел свое грядущее бытование в Казахстане, где возможностей встретить такого рода фамилию было больше, чем, скажем, в средней полосе. Но для сотрудников Сухумского питомника Курдюмов остался образчиком агрессивной похоти и половой неразборчивости. Курдюмовым наказывали отказников, не желавших участвовать в эксперименте – прежде нежели отправить их на этап или поставить к стенке.

9

Состав вывели на запасный путь, где уже пять лет томился без дела бронепоезд.

Подросли какие-то люди с собаками, выстроились цепью, и Фалуев, никогда раньше не попадавший в подобные переделки, послушно заложил руки за голову и прыгнул на землю.

– Чего пугаетесь, зачем руки подымать, – проворчал чей-то голос.

– И я о том, – закивал Младоконь, прохаживавшийся взад и вперед. – Давно пора отрубать, а мы все цацкаемся.

Больше вопросов не было.

Их распахали по нескольким вместительным машинам, поджидавшим особняком; прибывшие успели оторопело разобрать, что и вправду оказались доставленными в Сухум. Из всей пятерки там прежде бывал один Лебединов: выяснилось, что он дважды приезжал сюда писать очерки о Кавказе. Мотор взревел, компанию качнуло, и Двоеборов чуть не упал.

– Заказал кто-то? – спросил он лишь, чтобы о чем-то спросить.

– Что? – не понял Лебединов. – А, вы об очерках. Нет, по велению сердца, – он вздохнул и уже привычно принял к щелочке: автомобиль был с крытым кузовом, вроде грузовика.

Сухум, вполне еще узнаваемый, поплыл мимо. Лебединов не без щемящего умиления узнавал запомнившиеся места, а тех, что не видел из кузова, домысливал: солидный дом купца Бостанджогло; гостиницы с величественными названиями «Россия», «Метрополь», «Империял» и «Ориенталь», призванными намекать на пространства, сопоставимые с Универсумом; меблированные номера «Флорида», где он сам же и останавливался в первый приезд; почивший в бозе Банк Сухумского общества взаимного кредита; аптеку провизора Френкеля, Сухумскую гору, Дом председателя Эстского вольно-экономического общества Сухумского округа купца Михельсона. Обозревая все эти памятники мысленно и зримо, Лебединов невольно рисовал себе судьбы Михельсона и Френкеля, Бостанджогло, гостиничных владельцев Чаранди, Мариэти и Фурунджи-оглы. Он подумал, что все они, может быть, сведены воедино в том самом неведомом пока месте, куда направляется тюремный экипаж; «Будет что вспомнить», – горько сказал себе Лебединов.

Многое из памятного он, не имея возможности видеть, домысливал без труда: скульптурную группу, фонтан, невысокую башенку. Образы являлись готовыми, неподвижными, словно на фотографии. Совсем иначе обстояло дело с вещами, которые открывались умственному взору его товарищей. То, что ими предполагалось, имело разорванный, разрозненный вид: преувеличенные скалы, вздымавшиеся из моря и венчавшиеся белоснежными дворцами с террасами; папахи, кинжалы, лезгинка, оскаленные рты, освежеванный скот; обрюзгшие сонные греки, занятые приготовлением кофе, который уже вздыхает, согретый песком; лубочные пальмы с неуместными мартышками, примешавшимися из полузабытых детских сказок; все это путалось с нарядными праздными дамами на горной прогулке, дамы приподнимали подолы и перехватывали зонтики так, чтобы было удобно взбираться на кручи; мешалось с осликами, запряженными в повозки, и все это вместе окутывалось жаркой белесоватой пылью, причем откуда-то вдруг появлялся покойный император, взявшийся непонятно зачем, ибо всем было отлично известно, что здешними краями успешно и не нуждаясь ни в ком отныне и навеки правит буйная голова, Нестор Лакоба. Образы вспыхивали, разлетались, разделялись чернотой неизвестности.

Все это грезилось потому, что никто из пятерых, помимо Лебединова, никогда не бывал в Сухуме.

– И в самом деле курорт, – рассуждал Боков, пытавшийся воспитать в себе смешные надежды.

– Еще немного, и вы заявите, что наши хозяева решили загладить вину, – сыронизировал Константин Архипович.

– Почему бы и нет? – Боков отреагировал вызывающе. – Вы поручитесь за них?

Фалуев усмехнулся и мягко сказал:

– Поручусь. – Потом добавил не к месту, отвечая каким-то своим мыслям: – Мир плох не тем, что в нем нет ничего хорошего, а тем, что всему хорошему наступает конец, а это еще ужаснее.

Ему, вероятно, вспомнились недавние предсмертные сны.

– Мы останавливаемся, – заметил из угла Двоеборов. В нем не осталось ничего от отчаянного безумца, идущего на штыки. Он съежился, посмурнел. – Сейчас вас рассудят. Сейчас...

Автомобиль тряхнуло; невидимый водитель остановил движение, но мотора не выключил. Снаружи донесся лязгающий шорох, скрывающийся на скрип: это поползли ворота. Машина рванула с места, проехала чуть-чуть и вновь замерла. Теперь лязг слышался и сзади, и спереди, гремело все. Машина дернулась, направляясь во внутренний дворик, так что Лебединова отбросило от потайного окна. Он, однако, успел запечатлеть в сознании наружную действительность и мрачно процедил:

– Тюрьма...

Отец Михаил, к тому времени немало уже раздражавший своих спутников теплым и тихим внутренним светом, в очередной раз возвел очи горе, а потому последним открыл, что стража выглядит необычно: дюжие молодцы в хирургических, сзади завязывающихся халатах поверх навозной формы. Младоконь маячил в отдалении с выражением строгого счастья на лице. Весь вид его говорил, что иначе и быть не могло, поручение выполнено, и не за что его тут нахваливать, хотя никто и не порывался хвалить. Еще дальше стояли вполне обычные красноармейцы с винтовками наперевес.

– Вылазь, – выдохнул первый детина, одетый в халат; он чуть подпрыгнул с утиным кряком, встал на колено и потянул к себе того, кто был ближе: Фалуева. Тот помедлил, думая высвободиться, но принял решение не искушать судьбу и повиновался. Бодрое, животворное тепло кавказского климата не ощущалось нисколько; глаза Константина Архиповича перебежали с одного насупленного лица на другое. Они остановились на двухэтажном здании красного

кирпича, с решетками на окнах. Фалуев по роду своей деятельности мгновенно угадал в нем больницу – распознал ее сокровенным чутьем, не будучи в состоянии обосновать догадку.

«Дезинфекция? – недоуменно прикинул Константин Архипович. – Не иначе, они опасаются тифа».

– Вылазь, – ровно повторил санитар, на сей раз обращаясь к Двоеборову.

Тот тяжело спрыгнул на землю.

Железная дверь распахнулась, возникла полная женщина, очень похожая на Младоконя хронической революционной заботой, написанной на деревянном лице. В руках у нее была какая-то, как понял Двоеборов, ведомость.

– Так, – сказала она.

10

Отец Михаил принадлежал категории служителей церкви, заслугами коих в народе пошла срамная молва о священниках вообще. Мелкий греховодник, он принимал в дар продукты питания – кур, индюшек, кабанчиков, яйца; не упускал случая потискать, а то и употребить раскаянную дуру; случалось, что и мертвую пил, что мало сказывалось на его незатейливых проповедях. Он никогда не задумывался над сущностью своего служения, и тем возносился над многими, полагая Господа настолько недостижимым, а себя – настолько малым в сравнении с ним, что верой этой бессознательно оправдывался. Ведая свои слабости, он и к другим был снисходителен, не лютовал, не отлучал от причастия и даже попустительствовал, если не потворствовал, но неизменно говорил себе, что все люди – все до единого – тихим, посильным подвигом влечат свое скорбное существование, и что его работа ничем не выделяется из сотен иных работ.

Когда вокруг отца Михаила начались перемены, он разволновался и приготовился к мученичеству, которое настигло его лишь на десятом году новой власти. Смирение и неожиданная склонность к мягким пророчествам, к значительной басовитости, к прилюдному несению креста ему самому, в глубинных тайниках души, казались фальшивыми. Обернувшись страдальцем, он действовал, если так можно выразиться, хрестоматийно, в согласии с книгами и расхожими ожиданиями. Каждый новый день оказывался тяжелее прежнего; какое-то раздражение, какая-то истерика кипели в отце Михаиле, не находя выхода. Ему хотелось бросить все, затопать ногами и очертя голову устремиться в первое пекло, какое найдется поблизости; его неосознанное желание сбылось. Отец Михаил неоднократно выслушивал отвратительные истории о забавах победителей, венчавших священников с кобылами, и внутренне давно приготовился претерпеть и унизиться – приготовился разумом. Но понуждение к соитию с обезьяной превзошло его ожидания, он поначалу растерялся и автоматически ответил отказом.

Теперь, стоя на коленях, он потрясенно отфыркивался, пока службист застегивал насаженные штаны. С бороды капало, на лице проступило омерзение, победившее страх.

Человека, который вел с отцом Михаилом разъяснительную беседу, звали Брыкин.

В меру образованный, Брыкин наслаждался, подкапываясь под основы веры саботажника.

– Продолжим, – сказал он, уселся на край стола, задымил дешевой папиросой. – Почему тебе, поповскому отродью, не облагородить животную? Скотину, от которой ты родился? Божиьку вспомнил, когда до дела дошло? Замараться боишься, тварь?

Отец Михаил прыгнул на него и впился зубами в горло.

Животное начало, которое сам он всегда считал низким, но неизбежным, одомашненным и заслуживающим добродушного снисхождения, взорвалось; парадокс заключался в том, что этот взрыв адресовался тоже животному, темному началу, звериной стихии, куда так настойчиво толкали отца Михаила. Звериное выступило против звериного – возможно, претворяясь

в ангельское, но только отец Михаил уже не следил за парадоксами, не гордился и не любовался собой отстраненным взглядом, не содержал в намерениях никакого геройства. Дальнейшая и очевидная судьба его сделалась до того нестерпимой, что вожжи сами вывалились из рук.

– Сюда, сюда, – Брыкин, распластанный на столе, хрипел и будто подсказывал отцу Михаилу, куда укусить, тогда как в действительности звал на помощь; он пытался подсунуть правую руку под нападавшего, чтобы дотянуться до кармана, где лежало бесполезное оружие. Отец Михаил лежал на нем плотно и затруднял движения.

Что-то подалось, и батюшка чуть отпрянул, вытягивая из шеи Брыкина неровный мясной лоскут. Кровь брызнула отцу Михаилу в глаза, но ему и не нужно было видеть. Не столько криком, сколько стуком Брыкин сумел-таки привлечь внимание охраны: дверь приотворилась, кто-то заглянул внутрь и сразу же распахнул ее настежь. Четыре руки вцепились отцу Михаилу в волосы, ворот и руки. Он мычал, выпучивал глаза и силился напоследок впиться поглубже.

– Курдюмову его, Курдюмову, – Брыкин уже умирал и ему было ужасно больно, однако характер его, закаленный на фронтах, не позволял расслабиться, позаботиться о себе и требовал прежде всего возмездия.

Отца Михаила оттащили, изо рта его выскользнула перекушенная артерия.

К Брыкину звали врачей; те, благо дело происходило в тюремной больнице, спешили на помощь, но безнадежно опаздывали.

Отца Михаила начали бить.

– Стойте, не кончите его! – закричал кто-то спохватившийся, когда расправа зашла далеко. – Командир велел гориллу! Пусть оклемается...

Ведро воды, всегда стоявшее наготове в следственном кабинете, пошло по рукам; отец Михаил застонал, мокрый до нитки. Его подхватили под руки, усадили на пол, силком повернули лицом к столу, откуда Брыкин, затихший, медленно сползал под действием собственного веса.

– Гляди, сволочь! Хорошо гляди!

Равнодушная мысль помолиться за новопреставленного – неизвестно, чьего – раба, промелькнула и затерялась в хаосе многих иных, отмеченных страхом, негодованием, стоичностью, злобой, упованием и раскаянием. Отец Михаил тщился уцепиться хотя бы за одну, и в этом деле ему мешала последняя, самая главная мысль о том, что лучше ему теперь обходиться вовсе без мыслей, разумнее будет лишиться разума, ослепнуть и оглохнуть.

– Товарищ Брыкин скончался, – глухо сказал врач и стянул с макушки колпак, похожий на раздавленную ватрушку.

В тот же миг до людей, столпившихся в кабинете, донеслись далекие ухающие звуки, срывающиеся на короткий визг.

Высокий мужчина в пыльном шлеме и распахнутой шинели склонился над отцом Михаилом:

– Чуешь? – спросил он вполголоса, с нотками ликования. – Не чуешь. А он почуял. Он вашего брата за версту чувствует, классовым чутьем...

11

Лебединов стоял в маленькой, на удивление чистой палате, совершенно голый. Не просто нагой, без одежды, но и выбритый налысо, без бороды. Неловкий брадобрей объяснил, что это «для блага же Лебединова, чтобы не ухватились, не дернули, не сорвали башку». Литератор, верный своему ироническому амплуа, и здесь заподозрил иную цель: не иначе, хотели его вовсе не обезопасить, а уподобить партнерше, чтобы понравился.

Солдат, втолкнувший его, искренне позавидовал:

– Дуракам счастье. Мне бы такую, мохнатенькую – я бы знал, что с ней делать.

Лебединова оставили одного, но внимательно следили за ним в окошечко. Из подсматривающего в щель он сам превратился в предмет пристального наблюдения. Ему, в свою очередь, тоже было за кем последить, но Лебединов смотрел куда угодно – только бы не задерживать взор на одинокой кровати. Белизна нарушалась большим черным пятном. Обезьяна, пристегнутая к ложу ремнями, воспринимала происходящее равнодушно. Ей, судя по ее малоподвижности и невыразительности морды, дали какие-то лекарства, чтобы она вела себя тихо и не противилась брачеванию. Кривые шерстистые ноги с желто-бурыми пятками были приглашающе разведены. Обезьяна дышала тяжело и чем-то ритмично попискивала. Пасть застыла в оскале.

Солдат напугствовал Лебединова:

– Не балуй с ней, не вздумай поцеловать. Полхари тебе отожрет, зверюжина.

Тот вскинул голову, поглядел на советчика. Похоже было, что тот и не думал насмешничать: в глазах конвоира горел неподдельный азарт. Тем печальнее для Лебединова был несокрушимый факт: его естество отказывалось следовать замыслу и нисколько не возбуждалось.

Постояв немного, он повернулся к окошку:

– Видите? – спросил он сиплым голосом. – У меня ничего не выйдет. Я вообще не гожусь для этих дел, у меня половая слабость с юности, нервическое истощение.

Участливый немолодой доктор сделал успокаивающий жест. Из коридора донеслось:

– От пули поправишься. Давай, не тяни!

Лебединов проглотил комок, сделал два шага. Он был уверен, что сейчас его вырвет: было чем, потому что доноров кормили очень прилично – по мнению злобствовавших солдат, намного лучше, нежели красноармейцев. Это делалось для умножения производительных сил перед вступлением в производственные отношения.

Обезьяна безразлично взирала на него из-под полуприкрытых век. Своими ощущениями она витала где-то в своем обезьяньем королевстве, химически облагороженном; на миг Лебединову почудилось, будто он видит Фалуева – тому виной была схожесть взглядов, ибо совсем недавно Константин Архипович глядел на мир похожим взором, а дикость здешних опытов не исключала экспериментов по низведению людей в звериное состояние. Да что там не исключала – в этом и заключалась их главная цель.

Сзади слышались шаги, Лебединова не очень сильно, но раздраженно ударили по шее. Моментально раздался протест: избиению воспрепятствовал доктор, вошедший вместе с конвоиром.

– Подождите с насилием, – попросил врач. – Ему нелегко преодолеть межвидовый барьер. Немного стрихнина — и половые центры в спинном мозге приобретут достаточную независимость. Подержите его немного...

Красноармеец, переодетый в белый халат, ничего не понял касательно полового центра, однако последнюю просьбу воспринял с готовностью. Он ухватил Лебединова за тощую шею, толкнул к стенке, придавил локтем.

– Не поможет, – жалобно прошептал Лебединов. – Закройте ее чем-нибудь.

Он предложил это из подлого желания изобразить инициативу, готовность сотрудничать. Дернулся от укола, закусил губу.

– Пускай посидит десять минут, – сказал доктор, отступая от него и говоря о Лебединове индифферентно, словно о ком-то отсутствующем.

– Слушаюсь, товарищ ученый, – почтительно пробасил конвоир.

– Если не подействует, – продолжал тот, – тогда и в самом деле придется накрыть ее простыней. Вырежем дырку, чтобы дышала.

Стрихнин, как и предупреждал Лебединов, не помог.

Ругаясь на чем свет, вошли какие-то помощники, на ходу расправлявшие простыню, испещренную желтыми и бурыми пятнами. Одуревшую обезьяну накрыли; она не противилась и только показывала в отверстие смрадные клыки. В помещении было отменно натоплено,

однако Лебединов ужасно озяб, обхватил себя руками и свел длинные, голенастые ноги так, что стопы вывернулись носками внутрь. Теперь ему было ясно, что все его пожелания, какие только возможно исполнить, будут исполнены – те, разумеется, которые облегчат ему выполнение задачи.

Охранник презрительно скосил глаза на его втянутый, сморщенный член.

– Э, баре! – безнадежно махнул он рукой.

Лебединов не посмел указать ему, что не имеет никакого касательства к барству. Он открыл было рот, чтобы заискивающе пошутить, но тут вошел еще один врач, моложе первого, вернувшегося к наблюдению из-за стекла. Лекарь деловито тасовал пачку коричневых фотоснимков – старых, захватанных, как игральные карты; на картонной основе. Похоже было, что это какой-то шустрый ассистент, очень усердный и метящий выше.

– Успокойтесь, Кирилл Степанович, – миролюбиво сказал ассистент. – Расслабьтесь, не волнуйтесь, никто не собирается вам вредить. Давайте присядем.

Он взял Лебединова за руку, подвел к кровати и усадил в ногах, а сам предусмотрительно, дозируя намеченное сближение, расположился между ним и обезьяной.

– Посмотрите, – он протянул фотографии. – Хорошее качество! Не то что нынешние, да извинят меня товарищи, – врач быстро взглянул на дверь и дрогнул, будто хотел перекреститься, да передумал.

Лебединов покорно уставился на снимки. Они были добротные, дореволюционные. На них, в позах, которые трогали своей мнимой откровенностью, казавшейся теперь нелепостью, почти невинностью, были запечатлены разнообразные дамы в белье и без; одни стояли, нагнувшись и прикрывая руками грудь; другие лежали, раскинувшись на подушках так, что ткани продолжали как бы случайно прикрывать их естество, а сбоку маячили кальсоны какого-то приблизившегося господина.

– Вот еще, – ассистент перебрал несколько карточек.

Возбуждая донора, он не сводил глаз с его причинного места, и сразу же мягко отвел руку литератора, когда тот машинально прикрылся.

– Смотрите мне в глаза, – вдруг приказал ассистент, и Лебединов повиновался. – Я буду считать... один, два... а вы внимательно слушайте и думайте об увиденном... три... ничего больше не существует, четыре... ничто не отвлекает... пять, шесть... вашего внимания... вы расслаблены, вам тепло и покойно...

Он быстро извлек из нагрудного кармана кольцо на золоченой цепочке. Кольцо начало раскачиваться перед Лебединовым на манер маятника.

– Семь... ваши ноги наливаются тяжестью... это приятная тяжесть, восемь-девять... это тяжесть пополам с теплом...

Лебединов испытал внезапную сонливость наряду с начальным абстрактным влечением вообще, ни на кого не направленным. До него донеслась ватная похвала:

– Хорошо.

Дальнейшего он не помнил.

Впоследствии доктор, гипнотизировавший Лебединова, имел продолжительную дискуссию с профессором Ивановым, в ходе которой они пытались установить, насколько принудительным можно считать осеменение, отпущенное под гипнозом. Было решено выделить лунатиков в особую группу условных добровольцев, чтобы они не смешивались с прочими арестантами и не искажали данных о качестве подневольной фертильности.

– Реакционная наука принижает это качество, – говорил Иванов, – но мы покажем, что в нашей стране даже неволя предпочтительнее дутой буржуазной свободы.

12

Их компанию разделили, если не брать в расчет Бокова и Лебединова, помещенных в одну камеру, где кроме них набиралось уже двадцать-тридцать душ, которых никто не считал. Было тесно, сыро и грязно; многие портили Илье Ивановичу показатели, демонстрируя неподдельную радость при переходе в сравнительно чистое и светлое помещение стационара. Не разобравшись вовремя в требованиях момента, такие обрадованные быстро огорчились в голодном и холодном карцере. Обманутых коллаборационистов стогнали туда нагишом, поливали водой, травили крысами, а время от времени – выборочно стреляли.

Выслушав Лебединова, Боков сделал верные выводы из его путаного, смазанного гипнозом рассказа. Он понял, что у тюремщика достаточно средств принудить строптивца к отправлению долга. Боков, мужчина дородной комплекции и до сих пор не до конца утративший конституционную солидность, хотя и осунулся, решил исключить возможность совокупления в принципе. Ночью, когда узники забылись разорванными, серыми в яблоках снами, он умышленно уподобился библейскому Онану, излился в оцинкованное ведро, служившее парашей. Бокова передернуло, когда он подумал о миллионах нерожденных детей, смешавшихся с экскрементами.

На следующий день, когда его повели на производство, Боков искренне покаялся в давнишнем, по его словам, половом бессилии – недуге, на который тщетно ссылался обманутый Лебединов.

Явился доктор с открытками и кольцом, однако не преуспел.

Санитары глядели на Бокова с жалостливой гадливостью.

История повторилась, потом еще раз и еще.

Боков готовился к отправке с этапом, уже уверенный в своей победе, но никуда не поехал. Его выдернули из камеры с утра пораньше и отвели не в палаты, а в незнакомый покамест кабинет, обставленный весьма аскетически. Боков старался сохранять достоинство, приправленное презрением, но невольно оглядывался по сторонам, и у него сжималось сердце. В кабинете его ждали два человека, оба в военной форме; один сидел, скрестив под столом ноги; другой почтительно замер рядом и, губы поджав, рассматривал Бокова.

– Садитесь, – человек за столом указал на табурет. Квадратные усики военного вспушились.

Боков осторожно сел.

– Моя фамилия Ягода, – назвалса собеседник. – Заместитель председателя ОГПУ, нахожусь здесь с плановой инспекцией.

Непонятно было, зачем он отчитывается.

Боков кашлянул, не зная, что ответить. Представиться? Это будет глупостью, шутством.

– Как вас содержат? – заботливо осведомился Ягода, встал и прошелся, чуть выпятив грудь. Сапоги вкрадчиво поскрипывали. – Жалобы? Просьбы?

Тот решил ответить только на последний вопрос, игнорируя остальные. Было ясно, что зампредседателя издевается.

– Никаких просьб у меня нет, – холодно сказал Боков.

Ягода кивнул, как будто не ждал иного. Он продолжил допытываться:

– Как вам спится?

Боков пожал округлыми плечами.

– Как всем.

– Ну, в этом мы с вами, пожалуй, расходимся. Соседи по камере пишут другое, – Ягода взял со стола измятый лист бумаги и помахал им перед Боковым. – Судя по этому сообщению, вам досаждают эротические сны.

«Кто-то донес, – сообразил бывший педагог. – Кто же, зачем?..»

Ягода, имевший некоторое представление о Пятикнижии Моисея, завел разговор, никак не вязавшийся с его положением и даже опасный своей откровенной реакционностью.

– Вы человек образованный, старого воспитания. Вы помните как обошелся Бог Саваоф с небезызвестным Онаном?

Страх, который Боков старательно сдерживал, прорвался в виде заискивающего желания пошутить:

– Похоже, что я уже поплатился заранее. Я, видите ли... я...

– Что – вы? – участливо улыбнулся Ягода.

Он повернулся к военному, до сей поры ничем не вмешивавшегося в события, и кивнул. Боков не успел моргнуть глазом, как тот очутился у него за спиной, сорвал с табурета и стиснул ему локти. Благодушие слетело с лица Ягоды. Высокий чекист приехал в Сухум сразу, едва ему доложили о террористической выходке мятежного попа. Он быстро подошел к двери, распахнул ее, выглянул в коридор и позвал еще людей; они вошли.

– Сначала руку, – приказал зампреда. – Пусть узнает, сволочь, чего ему ждать.

Боков закричал, когда его руку придавили к дверному косяку. Ягода вышел в коридор и лично захлопнул дверь; повторный крик, долгие первого, слился с хрустом костей. Спасительная, отчаянная мысль сверкнула в сознании Бокова:

– Вы не понимаете, – простонал он; его на какое-то время выпустили, Боков теперь стоял на коленях и тряс покалеченной кистью. – У меня сифилис... Я боялся ее заразить.

Унижение, связанное с коленопреклоненной позой, многократно приумножалось позорным признанием. Боков был совершенно здоров, и тем отвратительнее казалось ему покаянное объяснение.

– Вот как? – Ягода озабоченно провел рукой по залысинам. – Разве вас не осмотрели перед спариванием?

Он снова кивнул. Вспомогательный чин поднял Бокова с пола и усадил обратно на табурет. Вышла временная, но – передышка. Боков придумал, как ему выкрутиться.

– *Был* сифилис, – уточнил он. – Явных проявлений уже нет... но я лечился самостоятельно, боялся огласки. Я не могу гарантировать полного выздоровления.

– Понимаю, – сочувствие, зазвучавшее в интонациях Ягоды, было весьма убедительным. – Почему же вы не сказали сразу? Венеризм – постыдное наследие капитала, и мы с ним боремся. Я сегодня же распоряжусь принять меры...

Ягода не обманул. Меры были приняты немедленно.

Прямо с допроса Бокова, почти счастливого, препроводили в автомобиль, как две капли воды похожий на первый, в котором доставили. Боков, грешный человек, мимолетно подумал, что его отвезут прямо к стенке, но быстро сообразил: это слишком сложно, куда-то везти. Выстрелы слышались денно и нощно, из-за высокого забора. Скорее всего, его отправят в другую больницу, специальную. Там, конечно, выяснится, что никакого сифилиса у Бокова нет, но уличить его во лжи будет непросто. Всегда можно оправдаться прежним лечением, которое – удивительный случай – все-таки помогло. В конце концов, он не врач – откуда ему достоверно знать, был у него сифилис или нет.

Боков почти угадал. Его действительно переправили в особое место – не имевшее, однако, ничего общего с больницей.

Он был помещен в специальный корпус, находившийся в полукилометре от прежнего.

Его без лишних слов затолкнули в камеру для сифилитиков, откуда он больше не вышел. Боков потом узнал, что за компанию там же держали прокаженных, которых вывезли из здания

лепрозория – слишком, по мнению новой власти, великолепного и роскошного для медицины. Кое-кого отпустили с миром, посчитав пострадавшими от старого быта; иных посадили.

Боков прибыл к обеду.

Принесли стопку помеченных мисок, приволокли дымящийся бак.

Он отказался от посуды и просидел весь день не евши и не пивши.

Взял миску только на третьи сутки.

13

Двоеборов согласился участвовать в эксперименте не из одного страха, давно заполнившего душевную пустоту, образовавшуюся после отчаянного, самоубийственного неповиновения, но также из желания утвердить зло. Зло воссело на трон – и если так, то пусть оно подавится, пусть досыта напьется из кровавых луж. Напрочь утратив волю к противодействию, Двоеборов предался мстительному коллаборационизму.

Он не сразу понял сказанное, когда ему кратко обрисовали его будущность.

Беседу проводил субъект, сильно напоминавший буйного атамана, которому хватило рассудительности прибиться к красным. Атаман уже вдоволь пограбил, удовлетворил корневые инстинкты и мог теперь поклониться идеологической надстройке. Атаман приоделся в белый халат, который нарочно не стал застегивать, чтобы все могли видеть кобуру, тоже расстегнутую.

Речь новообращенного атамана тоже ничем не выдавала университетского образования.

Он был предельно лаконичен.

– Будешь, стерва, мартышек уестествлять, – объявил он Двоеборову, едва того привели, с порога. И положил наган на стол. – Настругаешь нам смену – глядишь, и пожалеет тебя Советская власть.

Двоеборов воспринял только последние слова и сказал:

– Хорошо.

Атаман немного удивился. Он ожидал иного. У него вырвалось:

– Ты что, на голову слабый?

– Не претендую... – пролепетал бывший делопроизводитель.

Тот заглянул в бумаги и сразу же наткнулся на это бывшее делопроизводство.

– Ну да, тебе привычно дела производить, – заметил атаман с той безразличностью, какую испытывает всякий порядочный кавалерист к бумажному труду.

Он все еще не избавился от легкого недоумения, однако вопрос был ясен, и рассусоливать не приходилось.

– Уведите, – махнул атаман.

У Двоеборова не было времени подготовиться. Его быстро свели в палату с уже полностью обустроенным рабочим местом. Наученные Лебединовым, медики предусмотрительно прикрыли животное простыней, так что требование Двоеборова убрать покров застало их врасплох. По лицу Двоеборова было ясно, что он уже давно обдумал и мысленно пережил все ужасы, какие могли его подстергать. Сознание довершило преображение, развернув Двоеборова к пропасти, и он теперь думал, что лучше бы ему ринуться туда поскорее, да поглубже; что все помимо пропасти – напрасно и обманчиво. Поэтому предстоящий опыт не явился для него полной неожиданностью, чего-то подобного он ждал и даже хотел. Он не видел надобности в приукрашивании действительности посредством каких-то жалких покрывал; глупо было надеяться обмануть бездну, рисуя в воображении пусть не цветущий луг, но хотя бы ровную, прочную поверхность. Двоеборову вспомнился Дарвин, который допустил принципиальную ошибку в рассуждениях о направленности эволюции. Последняя, по мнению Двоеборова, близилась к завершению. Он догадался: «Это цикл, наподобие смены времен года».

Один из санитаров что-то почувствовал.

– Не перестарайся, – буркнул он. – Сонная, сука, да только за ней глаз да глаз нужен.

Второй, не настолько прозорливый, тупо уставился на товарища. Ему трудно было представить, что кто-то может стараться. Сам он, конечно, потешил бы всласть свое естество, но тем и ограничился – какие старания?

– Мне совсем раздеться? – глухо спросил Двоеборов.

Первый санитар пожал плечами:

– Дело хозяйское.

Двоеборов перевел взгляд на кровать, с которой приветливо улыбалась крупная обезьяна. Она была распялена, прикручена за руки и за ноги к прутьям. Ей было хорошо, уютно; лекарство набрасывало на ее примитивные помыслы невесомую, но теплую, мелкую сеть. Двоеборова затопила уже знакомая ему ненависть к живому, подстрекавшая к самоубийству – на сей раз через повиновение силе.

– Я разденусь, – известил он присутствующих срывающимся голосом, как будто угрожал.

Доктор, следивший из-за стекла, напрягся, но не вмешивался.

Двоеборов сбросил больничный халат. Прежде чем допустить к оплодотворению, каждого донора подвергали гигиенической обработке и переодевали в халат. Отделение, где проводились опыты, было на совесть протоплено, однако Двоеборов моментально покрылся огуречными пупырышками. В отличие от многих, он возбудился сразу и не нуждался в постороннем содействии.

Он прыгнул на разомлевшую самку, как будто бросился в омут. Та визгливо закричала: Двоеборов сделал ей больно, проталкиваясь внутрь.

– Молчи, – просвистел Двоеборов и крепко зажал ей ладонью пасть.

Он начал двигаться, купаясь в черном самозабвении. Он перепрыгивал с одной разорванной мысли на другую, такую же увечную и недодуманную мысль: «Все... будет по-вашему... Ваша победа!... Мы нарожаем вам воинов... Миллионы клыкастых солдат... Косматые будут скакать там, и страусы, и ежи... в зеленых шлемах с красными звездами... Богатыри полетят, как из обоймы, в рубашке и кольчуге... Все покорится дьяволам!... кряжистые звездоплаватели в деревянной ракете... с уханьем и ревом... седлают планеты, пожирают морковь...»

В химической пелене образовалась дыра. Обезьяна отхватила Двоеборову четыре пальца, но он не прекратил своего дела, ответил достойно: зарылся лицом в жесткую, пахучую шерсть, вцепился зубами во что-то тугое, рванул, зарычал, завыл. Его схватили за волосы, потащили прочь – он сверзился на пол, не разжимая объятий. Туловище жило отдельной жизнью и продолжало трудиться; обезьяна, в полном исступлении, разрывала ему напрягшиеся плечи. Двоеборов ответил укусом на укус, выдрал мясо.

Кто-то с силой запрокинул ему голову, ударил выстрел. Половину лица снесло начисто, излившаяся кровь окрасила красным обезьянью морду, запачкала все вокруг, залепила самке глаза.

14

Константин Архипович стоял в списке последним, но не знал об этом. Разлученный с товарищами по пересылке, он уже начинал думать о них в прошедшем времени; у него состоялись новые знакомства, не хуже и не лучше. Давая такую оценку новообретенным товарищам, Фалуев испытывал угрызения совести: бывлые друзья худо-бедно спасли его не то от Шишова, не то от Емельянова, но было ли это благом?

Из тех, кого ежедневно забирали из камеры, никто не вернулся и не рассказал о происхождении. Слухи, тем не менее, ползли самые разные; не находя им подтверждения, Константин Архипович все же уверился в своем сырьевом предназначении. Одно было ясно: его собираются использовать в неких биологических изысканиях. С одной стороны, это пугало; с другой –

обнадеживало, так как Фалуев заранее исключал из участия в опытах малограмотный элемент, которого боялся пуще всего. Любые научные опыты требуют соответствующей подготовки, а с образованными людьми, по мнению Фалуева, всегда можно было договориться.

Константин Архипович поделился своими соображениями с сокамерниками.

Его тут же поставили на место контрвопросом.

– Что же, – спросили у него насмешливо, – саму революцию, по-вашему, матросики придумали?

Фалуев так не считал.

– Но и не белые халаты! – он возражал горячо, ощущая поддержку больничных – а стало быть, родных ему стен.

Иногда добавлял:

– А жаль, что не они...

Добавлял, пока не спохватился – и здесь Фалуева обожгло: ему не впервой было высказывать такого рода юмористические сожаления. Он не видел в них никаких точек соприкосновения с программой и деятельностью эсеров, за пособничество которым он был взят, но теперь, тщательно взвесив за и против, уверился: да, дело было именно в этих словах, неосторожно повторяемых и доныне.

Он замолчал, то есть поступил, как следовало поступить давно. Фалуев перестал общаться с себе подобными и выжидал. Он продолжал думать, что в его жизни уже ничего не будет хуже выстуженной церкви.

Наконец настал его черед.

Константин Архипович попрощался с людьми, покинул камеру налегке. Никакого имущества за ним уже давно не числилось. Его провели коридорами; они с конвоиром долго петляли, пока воздух не сделался чище. Правда, добавился незнакомый компонент, наводивший на мысли не то о цирке, не то о зоосаде. Путешествие завершилось в душевой, где Фалуева, за неисправностью каких-то коммуникаций, минут пять поливали из шланга. Напор был не очень сильный, но процедура оставалась унижительной. В предбаннике, на скамеечке, вместо своих вещей Константин Архипович нашел грубое, но чистое солдатское белье и больничный халат. Он оделся, не удержавшись от печальной ухмылки врача, который вдруг угодил под присмотр своих коллег. Его вывели и препроводили в кабинет, ничем не напоминавший медицинский; конвоир силком усадил Фалуева на стул, хотя тот и сам, без помощи сел бы; зашел за спину и замер, готовый в любую секунду пресечь бандитскую вылазку. Человеку, вошедшему в кабинет, было около тридцати лет, и своими манерами он тоже ничем не выдавал в себе медика – скорее, чиновника, умеющего прижиться везде, куда отправит его служить власть.

Усевшись за стол, чиновник монотонно, скороговоркой обрисовал перед Константином Архиповичем поставленные задачи. Фалуев не сразу вник в технические подробности, просто-душно спросил:

– Вы будете собирать мою сперму?

Лицо чиновника выразило искреннее отвращение.

– Ошибаетесь. Вы что, рехнулись? Никто не собирается вам помогать.

– Да-да, – кивнул Фалуев. – Я сам, разумеется.

Теперь собеседник обнаружил в себе способность к легкой улыбке. Его забавляло временное заблуждение донора, исключавшего возможность прямой и непосредственной передачи материала по назначению.

– Приятно видеть такую готовность к сотрудничеству. Редкое удовольствие. Вас не смущает, что вашим семенным фондом воспользуется зверье?

Константин Архипович едва не брякнул, что зверье и так уже пользуется всеми мыслимыми фондами, распорядившись частной собственностью в соответствии с лесными законами. Идея межвидовой гибридизации вызывала в нем естественный протест, негодование,

но Фалуев не считал себя героем и решительно распрощался со всяким личным достоинством, в том числе биологическим. Отчего бы не сделать последний шаг, когда все не то что катится, но уже перекаатилось в тартарары, и там осело, и даже пыль улеглась?

– Не думаю, чтобы мое мнение имело вес.

– Правильно не думаете. Природу не спрашивают, у нее берут.

Это утверждение никак не согласовывалось с пятью минутами ранее объявленной декларацией о скором освобождении природы.

Фалуев осторожно пожал плечами. Собеседник не выдержал:

– Вы, небось, воображаете себе пробирки? Говорю вам сразу: у государства нет денег на лаборантов. К тому же Илья Иванович считает, что телесный контакт имеет решающее значение. – Пристально глядя на притихшего Константина Архиповича, он победно добавил: – И я так считаю. Для этого не надо учиться в университете. Я и не учился. А вы ведь учились? – он вдруг взвизгнул, привстал, и Фалуев мгновенно понял истинные причины его торжества. Осознал и другое: никак, ни в коем случае нельзя поддерживать эту радость, давать к ней повод. Напротив – не худо было бы немного разочаровать выходца из народа. Это казалось трудным, едва ли возможным, но Фалуев ухитрился сохранить видимость самообладания.

– Я всегда был добропорядочным гражданином, – сказал Константин Архипович и в целом не погрешил против истины. – Этому, кстати сказать, тоже учат в университете. Заодно. Я всегда готов подчиниться... – Он помялся, подыскивая слова из современного обихода. – Требованиям момента.

Сидевший за столом молча смотрел на него. Фалуев изо всех сил старался сохранить вид беспечный и уважительный. Сил почти не было, и в какой-то миг он осознал, что сидит просто так, наподобие оглушенного, ничем не питаемый ни извне, ни изнутри. Не было и подлинного безразличия, а потому он мог сорваться в любую секунду, и победа чиновника стала бы полной. Но тот был слишком зол, чтобы что-то заметить и выждать.

Голос чиновника задрожал от ядовитой заботы, замешанной на гневе. Он обратился к конвоиру:

– Голубчик, – молвил он, насилуя патриархальный слог. – Отведите милостивого государя к его прекрасной даме. Наслышаны, – пояснил он Фалуеву, сбиваясь с ритма. – Читалис, – добавочное «с» проскользнуло невольно, как расторопный трактирный половой. – Лампад не обещаю, у нас теперь электричество. Обращайтесь с ним аккуратно, – конвоир, ничего не понимая, отрывисто кивал. – Не уроните по пути, не бейте до синяков.

Солдат смекнул-таки, в чем дело, и закивал еще усерднее.

15

Пять человек – пять дорог, пять сценариев: интересное разнообразие при общности настоящего и будущего.

Спроси кто у Фалуева, как он поступит, и Константин Архипович – в иной обстановке – наверняка бы выбрал либо мученический удел отца Михаила, истерзанного Курдюмовым; либо напрасную хитрость Бокова, либо безумие с очевидными признаками вредительства, в которое ударился Двоеборов. На самый крайний случай оставалось безучастное повиновение изнасилованного Лебединова. Тот же путь, какой он избрал в действительности, Константин Архипович не то чтобы отверг – он даже не стал бы его рассматривать.

Неизвестно, что тут сказалось: может быть, добросердечие – как природное, так и воспитанное врачебной практикой. А может быть – необычное озарение, по содержанию своему вполне заурядное, однако редкостное по широте и глубине влияния.

Фалуев сидел в изголовье, рассматривал обезьяну и заключал, что оба они – он и она – оказались в одинаковом подневольном положении. Он не видел в партнерше врага, намереваю-

щегося надругаться над всей его прошлой жизнью не самого хорошего, не Бог весть какого ума, но – человека. Константин Архипович видел лишь еще одно живое существо, павшее жертвой очередной бесовской затеи. Он протянул руку и осторожно погладил обезьяну по голове. Ему досталась крупная, зрелая самка шимпанзе. Она редко и глубоко дышала, взирала на Фалуева безучастно и улыбалась лишь изредка, рефлексивно, следуя никому не понятным внутренним побуждениям.

Ему стало отчаянно жаль эту тварь, которая угодила в переплет точно так же, как угодил он сотоварищи. Он погладил животное еще раз, и самка вытянула губы, издав что-то похожее на благодарное уханье: очень негромко, умиротворенно. Доктор, наблюдавший за событиями из-за стекла, уже был не один, к нему присоединились какие-то другие люди, но Фалуев не обращал на это внимания.

– Что, бедняга? – пробормотал он задумчиво, хотя на самом деле не думал ни о чем. – Влипли мы с тобой, здорово влипли.

Константин Архипович взял обезьянью лапу, поднял, отпустил. Та безвольно шлепнулась на простыню («Надо же, простыню подстелили», – равнодушно отметил Фалуев). Дозу лекарства, несмотря на протесты Ильи Ивановича, увеличили во избежание новых историй вроде той, что приключилась с Боковым. Профессору напомнили, что обезьяны стоили дорого, и он побоялся быть обвиненным в халатности и прекраснотушии.

Сам не зная, что делает, Фалуев осторожно прилег сбоку. И обезьяна ответила ему неожиданным признанием: она вырвалась из полудремы, доверчиво протянула руки, которые Фалуев сразу же перестал называть про себя лапами, и обняла его за шею. Константин Архипович, действуя очень аккуратно, взял ее на руки, крикнул, встал и заходил по палате, баюкая. Один из стоявших за стеклом хотел было выйти и разобраться, но его остановили знаком. Обезьяна положила подбородок Фалуеву на плечо и тяжело вздохнула.

Тот размышлял: «Как бы поаккуратнее?»

При всем сострадании к шимпанзе ему не хотелось возбуждать это существо обычными способами, заведенными среди людей.

Фалуев бережно уложил обезьяну обратно. «Ну-ка, посмотрим, что тут у тебя...»

Он сел в ногах и занялся осмотром. Самка была не вполне, но все же достаточно подготовлена к осторожному проникновению. Некстати явился вопрос: кто ее готовил и как? Думать об этом у Константина Архиповича не было ни малейшего желания.

– Как тебя зовут? – пробормотал Фалуев: не с тем, чтобы получить ответ, а чтобы отвлечься, оттянуть ненадолго неизбежное.

Но обезьяна ответила.

Она выдохнула нечто, отдаленно напоминавшее «Йо».

Не удержавшись, Фалуев погладил ее вторично и больше не отнимал руки.

– Ах ты, Йоха такая, – он неловко обхватил мохнатое туловище. – Йоха ты, Йоха. Ничего у нас с тобой не получится, Йоха. Злые дядьки глупость придумали. Где же это видано? Лежи спокойно, Йоха, ничего плохого не будет.

Йоха жалобно заскулила – негромко, отрывисто, как будто возмущалась злыми дядьками вместе с Фалуевым.

В соседней комнате собралась приличная толпа: врачи, военизированные санитары и просто какие-то ведомственные ротозеи без четких знаков различия. Доктор, наблюдавший за опытом, ощутил за спиной нависшую массу, обернулся и строго что-то сказал, махнул рукой: убирайтесь, лишние и любопытные. Никто не двинулся с места, и доктор еще раз махнул, на сей раз – себе.

– А может быть, и получится, – Фалуев накрыл своим телом Йоху. – Какой-нибудь странный, диковинный зверь. Если будет девочка, мы ее тоже назовем Йохой, правда? А мальчика... мальчика назовем Йохо. Или Йох. Тебе не все равно?

Обезьяна вдруг возбудилась и плотно притиснулась к Константину Архиповичу.

– Он вырастет, пойдет служить в Красную Армию, – приговаривал тот. – Получит специальность, женится... на такой же, как он... или на другой... Деток у них, наверное, не будет. Вот и станут они жить да поживать... У него будут друзья-товарищи... фронтовые, это уж наверняка... Потому что обязательно будет война... Тебе об этом не говорили? Она непременно начнется... И поднимутся богатыри, и Йохо их поведет... Крепкие, мохнатые молодцы с острыми зубами...

Фалуев, сам того не зная, повторял прогнозы Двоеборова. Они совпадали по сути, отличаясь один от другого лишь эмоциональной окраской, отношением.

Совокупление давалось Константину Архиповичу легко. Он двигался безмятежно, не особенно стараясь, но и не отлынивая. Йоха притихла. Казалось, ей были понятны трогательные попытки скрасить ее заточение. Фалуев чувствовал эту спокойную звериную благодарность и убеждался в правильности своих действий. Впрочем, он в этой правильности и не сомневался. Как оказалось, зря: наступил момент, когда возбуждение Йохи достигло черты, за которой был невозможен контроль, и та перестала сдерживаться: вцепилась когтями в спину, задергалась, лязгнула зубами. Фалуев захотел высвободиться, но не смог, его держали крепко.

– Что ты делаешь, успокойся, – он немного повысил голос.

Тщетно: Йоха оказалась ненасытной любовницей. Он уже давно разрядился, но та требовала новых и новых потуг; сидевшие и стоявшие за стеклом сообразили, в чем дело. Дверь распахнулась, и повторилась старая история. Чьи-то руки обхватили Фалуева за грудь и потянули к себе, другие руки крепко прижимали Йоху за плечи.

– Осторожнее, вы сделаете ей больно! – кричал Константин Архипович.

Над ним сопели, капали слюной, и он боялся обернуться, подозревая, что вместо человеческих лиц увидит обезьяньи морды, тогда как в сморщенном личике Йохи все более явно проступали людские черты.

Часть третья. Homo judicaturus

*Никто не может быть рупором Бога безнаказанно.
Герман Брок «Лунатики»*

1

Обеспокоенный долгим отсутствием Оффченко, Дитятковский попытался установить с ним телефонную связь, но карманный аппарат – осиротевший, жалкий, затерявшийся где-то в городе – ответил ему десятком глупых, самодовольных гудков. Аппарат не понимал, что лишился хозяина, и от того, пребывая в тупом электронном неведении, казался еще несчастнее, хотя ему и казаться-то было некому, в кармане полушубка, который, мокрый от талого снега, тоже занимался напрасным трудом: согревал бесповоротно остывавшее тело. Тогда Дитятковский нащелкал еще один номер, предельно секретный, который Оффченко раскрывал лишь перед самыми близкими людьми, к каким Дитятковский, безусловно, принадлежал – хотел того сам Оффченко или нет. В структуре ведомства, где оба они служили, иные близкие связи не приветствовались.

Еще одной особенностью этого ведомства был обычай во всех своих действиях и предположениях исходить из худшего. А потому Дитятковский недолго думал, где зарыта собака. Зарыта, утоплена, сожжена, похищена, заброшена ветками, разрезана на куски, скормлена крысам, перевербована противником. Не прошло и получаса, как на квартиры Йохо, Яйтера и Зейды были отряжены уполномоченные специалисты. Но там не нашли ни души, только кровь.

– Где?

Получив ответ, Дитятковский недобро протянул, передразнивая Толстого:

– Милый! милый Май Красногорович...

Опоздали совсем чуть-чуть. Форточка в студии была распахнута, но табачный дым не успел выветриться.

Уютный Дитятковский, которого взяли с собой, более не походил на Башмачкина, скорее – на встревоженного, рассерженного кота. Он расхаживал по квартире, сверкая очками; совал свой пуговичный нос во все углы и двигался очень ловко, легко, бесшумно. Уже нельзя было заподозрить в нем заурядного техника – да он и не был обычным техником, иначе никто не позволил бы ему сопровождать оперативную группу. Кем он являлся в действительности, не ведала ни одна из душ, собравшихся в этот момент на квартире у Яйтера – кроме, конечно, специально посаженного при дверях Ангела Павлинова. Для того никаких земных секретов не существовало.

Ангел, никому не видимый, отлетел в сторонку и обосновался в углу. Павлинов вошел в число доброй сотни невидимых шпионов, которых Йохо предусмотрительно разослал в здание на Литейном, в районное отделение милиции; расставил в проходных дворах, разместил на подоконниках. Зная, что убийство сотрудника госбезопасности не сойдет ему с рук, Йохо принял меры и теперь был прекрасно осведомлен во всех намерениях противной стороны.

– Их кто-то предупредил, – подвел итог Дитятковский, и Ангел Павлинов мог на это усмехнуться, когда бы умел смеяться. Он разучился это делать, ибо в сферах, где Ангел парил, был положен конец всякому несоответствию, и ничего смешного не стало.

Ослепленный яростью Йохо не сразу сообразил, что допрашивать Оффченко у Яйтера на дому, прекрасно известном кому надо и особенно кому не надо – затея рискованная. Слова куратора, предупреждавшего о глупости этого дела, он пропустил мимо ушей. Помог ему,

как ни странно, сам хозяин, не отличавшийся большой сообразительностью. Яйтер, правда, не столько думал об опасности, сколько хотел помешать убийству. Он уже хотел, чтобы Оффченко умер, но следующего, естественного и логичного шага не делал, медлил с ним. А потому, растерянный и больше прежнего неуклюжий, предупредил: «Его скоро хватятся» – в надежде, что это охладит безумного Йохо. Помимо врожденной нелюбви к насилию, Яйтер беспокоился насчет Зейды. Женщине на сносях не рекомендуется участвовать в кровавой расправе.

Йохо не сразу внял его доводам. Он видел Яйтера насквозь. Он сразу так и спросил у того в лоб: мол, понял ли ты, о чем тебе рассказали, или предпочитаешь разжеванную и переваренную пищу?

Яйтер не то чтобы не понял, но – недопонял. Сообщение Оффченко изобиловало незнакомыми фамилиями попеременно с малоизвестными Яйтеру историческими фактами. Он смутно догадывался о выводах, неумолимо следовавших из услышанного, и обладал достаточным рассудком, чтобы увидеть неотвратимость жестокого наказания для всех, кто прямо или косвенно окажется повинным в случившемся многие годы тому назад и продолжающемся теперь – естественно, если рассказ подтвердится. Короче говоря, он, ища подтверждения, не вполне ассоциировал себя с героями повествования.

Йохо тем временем признал его правоту: все верно, мерзавца будут искать.

– Тем более, – молвил он, обращаясь к себе.

Выждал немного, убедился, что Оффченко больше ничего не скажет, и задушил его.

Яйтер суетился вокруг, дотрагивался до побагровевшего Йохо и сразу отдергивал руки, будто обжигаясь; он не сумел помешать товарищу.

Отдуваясь, Йохо выпрямился, искал глазами, выбрал Ангела Павлинова:

– Лети к нему в контору, пошуй там.

Ангел едва шелохнулся; лишь присмотревшись можно было заметить легкую мгновенную дрожь: какая-то его часть успела переместиться по указанному адресу, вобрать в себя неприятельские замыслы и вернуться.

Яйтер обнял Зейду, давно молчавшую, и попытался вывести в кухню, но та не далась. Она выглядела ненатурально спокойной и покладистой.

– Летите все, – обратился Йохо к ненастоящим, и все они разлетелись, занимая наблюдательные посты и прихватив с собой жаркого-огненного; тот дематериализовался с натужным кряхтением, жалобно озираясь, неохотно.

– Его надо в подвал, – вдруг придумала Зейда.

– ...Обыскать подвалы и чердаки, – приказал командир оперативного отряда, и Дитятковский молча кивнул, всецело поддерживая распоряжение с таким видом, будто секундой раньше отдал его лично, телепатическим усилием.

Оффченко обнаружили сразу, именно в подвале. Он полусидел, привалившись к обитой войлоком толстой трубе. Глаза были вытаращены, язык вывалился, на воротнике застыла пленка буроватой слюны.

Остальных не было.

Дитятковский связался с конторой, потребовал объявить тревогу и перехват.

2

Оффченко с написанным на лице отчаянием не двигался с места, зато шатался из стороны в сторону, будто колеблемый ветром. Время от времени он что-то произносил, но звука не было, и нижняя челюсть ходила отдельно, распахивая и захлопывая громадный рот, словно кто-то дергал за ниточку. Остальное лицо оставалось неподвижным, деревянным, как будто дерево ужаснулось при виде занесенного топора.

Трудно было судить, сам ли это Оффченко или нечто иное, ему отдаленно родственное. Физически он был мертв и стал ненастоящим, однако Йохо достаточно было небрежной гримасы, чтобы выдернуть его назад, одеть в материю, доступную для воздействия со стороны земного специалиста из мяса и костей. Он не подозревал, что в самом скором времени материя потеряет свою важность. Оффченко пока не свыкся с новым статусом и плохо понимал, что происходит. Другие ненастоящие уже кружили вокруг, оглаживали его, дергали за пальто – он вернулся одетым в платье, в котором умер.

Действие перенеслось в кабинет рисования давным-давно поставленного на капитальный ремонт дома культуры, ныне заброшенного, но не забытого. На фасаде морщился и кривлялся грязноватый плакат, извещавший о намерении продать здание под увеселительный торговый центр с подземной парковкой.

Предвидя возможность перехода на нелегальное положение – не зная, правда, какие конкретные обстоятельства к этому вынудят и следуя только наследственному чутью – предусмотрительный Йохо обустроил помещение достаточно, чтобы в нем можно было жить. Он даже раздобыл переносной генератор, работавший автономно, и теперь зима была не страшна ни Яйтеру, ни даже беременной Зейде. Кровати, стулья, плитка – Йохо позаботился обо всем. Чтобы не тянуло стужей, он законопатил щели специальной шпаклевкой, которая раздувается и твердеет, образуя уродливые пузыри. Навесил плотные ставни, чтобы электрический свет не пробивался наружу. Отвадил бомжей, помахав им издали безобидными красными корочками. Правда, не справился с крысами, на которых корочки не действовали. Он трудился ночами, тщательно проверяясь на случай слежки. Необычное для человека чутье подсказывало ему, что опасности нет, что здесь никто и никогда не будет его искать. Действительно: дом культуры чернел на белом, как покинутый замок, но больше смахивал на лепрозорий или крематорий, тоже обезлюдившие. Его заносило снегом. Внутри висела ненадежная тишина, готовая в любой миг взорваться под действием мистического катаклизма, но пока ее щеко-тали лишь редкие грузовики, несшиеся, будто насквозь замороженные, колючие, отяжелевшие шары северного перекасти-поля. Ни пьяные крики, ни скрип воображаемых валенок, которые в действительности оборачиваются скучными ботами, не залетали внутрь; тишина была отменным часовым, так что любой посторонний звук мог справедливо и загодя считаться сигналом о вражеском проникновении.

Зейда, едва ее привели, сразу легла, и Яйтер укрыв сожительницу тремя одеялами.

Когда беглецы мало-мальски прилично устроились, Йохо потребовал взяться за руки, чтобы вернуть жаркого.

Яйтер тут же, сам того не замечая за собой, тихонечко замычал: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Выбор был продиктован не мрачной иронией, на которую Яйтер не был способен, а чистым совпадением слов, какое случается в поисковых программах.

Огненный объявился уже мгновенно, с легкостью, как будто никуда не уходил, а вслед за жарким потянулись прочие, в том числе – Оффченко, которого Йохо потребовал на закуску. На брюхе топорщился неровный кармашек, очень похожий на те, что украшают у маленьких девочек их трогательные фартуки и передники, недоставало лишь вышитой вишенки; кармашек шевелился, из него то и дело кто-то высовывался – расплюснутый в блин, заросший. Жаркий ущипнул кармашек и поясняюще, с непонятным бахвальством взвизгнул: «Семашко». Соседний, косо нашитый кармашек, раскапризничался, и жаркий пошарил в нем, что-то сдвинул и объяснил: «Цюрупа».

Яйтер на миг отвлекся от Зейды и попытался выделить в жарком людях, которым был обязан существованием. Ему казалось, что сегодня Илья Иванов представлен наиболее полно, хотя уверенности в этом не было, так как Яйтер понятия не имел, как выглядел профессор при жизни.

– Брыкается, – пробормотала Зейда. Лежа, она созерцала подергивающийся живот, который чем-то напоминал подвижный кармашек ответчика.

Из всех троих она одна достаточно сдержанно отнеслась к мерзкому рассказу Оффченко, подтвержденному и обогащенному жарким. Ей было не до биографических тонкостей, она готовилась рожать и разумом – уже не самостоятельным, но совокупным, ее и плода – понимала, что в этом важном деле совершенно не важно, кто выйдет на свет – ребенок ли, обезьяна. Она погладила живот, успокаивая дитятко, отделенное от прекрасного и яростного мира мясом, кожей и тремя одеялами.

– Вы можете судить, – пробубльнул жаркий, не дожидаясь новых расспросов. Он и без того отлично знал, какие вещи интересуют Йохо. – Вам послан дар. Правое полушарие. По слову вашему... Антонио ушел...

– Где он, Антонио? – быстро спросил Йохо. Выяснить это было для него очень важно.

– Не здесь... Вы рассудили его навсегда... Его больше нигде нет и не будет. Мы тоже хотим, чтобы нас нигде не стало. Другие желают быть. Вам решать. Быть или не быть – вам решать. Движением воли...

– Все трое должны решать? – допытывался Йохо. Яйтер и Зейда становились, по его мнению, обузой. Если на Зейду еще возлагались какие-то надежды после разрешения от бремени, то Яйтер так и останется неповоротливым тугодумом. Трубы давно поют, но ему не проснуться.

– Все трое... должны решать. Или двое должны решать. Решает часто один, или трое. Или двое.

– И с этим? – Йохо кивнул на Оффченко.

Жаркий неуклюже поклонился. Телодвижение, которое он выполнил, напоминало поклон весьма отдаленно.

– Решать с ним, да. Будьте милостивы и приятны. Мы ждем. Все ждут. Миллиарды замерли в ожидании, – добавил он с некоторым уклоном в литературность.

Йохо, победно скалясь, обернулся к Яйтеру:

– Слышишь, что он говорит? Это же Страшный Суд!

Он, как и сам полагал, немного приукрасил действительность, но чего не сделаешь для товарища, обиженного умом и нуждающегося в доброй встряске. «А может быть, несколько не приукрасил», – сказал себе Йохо.

Тут не выдержала Зейда:

– Кого ты из себя корчишь? – затрубила она. – Натворите дел, а я в положении! – Зейда собачилась неуверенно, без огонька. Казалось, что ей ужасно хочется разубедиться в сомнениях и страхах.

– Мы всего-навсего эмиссары, – огрызнулся Йохо. – Никаких чудес, обычная наука, виток эволюции. Зря, что ли, нам дана такая способность?

– Хомо юдиканс, человек судящий, – угодливо подхватил какой-то рыхлый ненастоящий, в далеком прошлом – римский сенатор. – Нет, хомо юдикативус. Нет, юдикатурус – намеревающийся судить.

Йохо, взволнованный, кивнул ему с некоторой рассеянностью, как будто и сам давно знал все эти латинские тонкости. Он огрызнулся напрасно и делал это защиты ради, так как отчаянно боялся неловким душевным действием разрушить триумфальный восторг, поднимавшийся атомным пламенем от самых чресел. А Зейда, затопленная эмоциями (как и предсказывал Дитятковский) и сдерживавшая себя единственно из боязни навредить плоду, уточняла статус собравшихся с тем, чтобы напитать и насытить надежду на проснувшуюся божественность и, следовательно, близкое мщение. Она открыла в себе, что ей уже очень давно хотелось отомстить, да только она не знала, кому и за что. Яйтер же был единственный, кто позволял себе принципиальные колебания: он хуже соображал и тоже, как и его товарищи, испытывал страх. Однако он даже больше боялся иного: рехнуться, когда падет тоненькая фанерная стенка, отде-

лявшее недоразвитое левое полушарие от вошедшего в силу правого. Он думал, что его немедленно захлестнет и спалит нетерпеливое пламя, а потому цеплялся за остатки бывшего почтения к человечеству, за ошметки веры в него. Ему еще казалось, будто судить людей нехорошо. Поэтому Яйтер гнал от себя откровения жаркого и признания Оффченко, ибо чувствовал, что если воспримет их всецело, то уже не останется ничего, кроме жажды возмездия.

Толкаемый страхом, он вышел якобы по нужде, желая лишь разыскать спокойный уголок, где можно пересидеть и все обдумать, а лучше ни о чем не думать. И Яйтер топтался возле окна, рассматривая давно высосанного и высушенного мотылька, застрявшего в паутине. Яйтеру пришло в голову, что будь мотылек еще жив, он, Май Красногорыч, сумел бы добрым поступком если не уравновесить, то хотя бы поколебать чаши весов, уже повисшие в воображении. В порыве приторного сочувствия он помог бы мотыльку разорвать липкие сети. Для мотылька это стало бы чудом.

«И никакого чуда нет, когда избавляешься вдруг от чего-то ужасного, неотвратимого, – ожесточенно подумал Яйтер. – Просто кто-то милосердный заглянул в сортир, где ты обитаешь. Зашел отлить».

Героический выход в абстракцию утомил его.

Он, сам того не замечая, снова стал напевать, автоматически дирижируя лапищей.

Мысли ложились на музыку, создавая бессловесное настроение, ибо никто не мыслит словами. «И вы, освобождаясь, ликуете и вольны беспрепятственно летать по этому самому сортиру, и даже творчески парить над безжизненными водами, которые замерли там, в дыре».

Так думал Яйтер, не прибегая к словам.

3

Чаши весов, которыми сделались мозговые полушария Яйтера, все же пришли в движение. Хотя их лучше было уподобить не чашам, а двум половинам ядерного заряда. За неимением живого мотылька хватило фразы весом в пылинку.

Фразу обронил жаркий – та его часть, что отдаленно соответствовала Ягоде.

Когда Яйтер вернулся в ободранное и грязное помещение, Йохо повсюду беседовал с огненным. Тому передалось нетерпение вопрошателя, и жаркий какое-то время изъяснялся без запинки. Йохо подгонял его, прищипывая, выпытывая подробности о наметившемся Страшном Суде.

Жаркий предоставил слово Илье Иванову, распоряжаясь на манер Горыныча, вынужденного решать, какой голове поговорить, а какой – помолчать. Доклад предварился коротким спором, который мог показаться забавным, будто выдернутым из мультфильма, но в том и была особенность ситуации: создатели мультфильмов переиначивали сказочные архетипы, в себе таившие вовсе не сказочный подтекст и не имевшие целью развлекать малышей; создатели надругались над архетипами, калечили их, как заблагорассудится, так что головы, объединенные общим туловищем, вступали у них в скандальные дебаты. Однако на деле такие пререкания вовсе не выглядели смешными. Каждое слово формально подчинялось привычной логике, но слушатели чувствовали, как потустороннее рвется на волю, примеряя на себя звук за звуком, пытаясь протиснуться в звук, разорвать его и хлынуть в прореху. Фразы то и дело размыкались под водительством неуместных интонаций; иные из них почему-то произносились нараспев, а третьи достраивались подчеркнутой, нарочно усиленной икотой.

Но вот профессор, гримасничая своим отмежевавшимся лицом и поминутно срываясь на не имевшие отношения к делу подвывания, принял слово и затеял целую лекцию. Научные термины причудливо мешались с мистическими, которых Иванов успел нахвататься на перепутье между вечной жизнью и вечной смертью.

Жаркий как совокупность трансформированных духовных существ, не особенно ладивших между собой, пузырился, раздувался и опадал, наполняя помещение отвратительными звуками, которым не хватало разве что подходящего ароматического сопровождения. Никто не сомневался, что последнее было возможно, и дело лишь в способностях и возможностях аудитории, которая пока не умела перетаскивать демонов вместе с запахами.

Ййтер, едва шагнул в комнату, услышал, как Иванов цитирует новейших ученых, чья деятельность, конечно, не была для него секретом, ибо жаркий не ведал пространственных и временных границ. Он был в курсе всех современных идей.

– Формулировка Спрингера и Дейча наделяет правое полушарие человека следующими атрибутами: интуитивное, спонтанное, синтетическое, образное, непрерывное, симультанное, импульсивное. Полушарная асимметрия присуща только человеку. Правополушарные люди с трудом устанавливают логические связи между тем, что образуется в правом полушарии. Правополушарная речь – древнее. Правое полушарие ведаёт многими пространствами... Гибридизация позволяет усилить правополушарные проявления при относительной сохранности левополушарных. Правое полушарие служит воображению, оно – от дьявола. Фантазия порочна. – Профессор говорил отрывистыми фразами, плохо связанными друг с другом. Он, казалось, делился некими тезисами – возможно, напивавшись от породнившихся с ним большевиков любовью к тезисам как форме изложения материала. Он перепрыгивал с пятое на десятое: – Мои гибриды в подавляющем большинстве бесплодны, достаточно вспомнить мулов и лошаков... Но я добился потомства... Мы восприняли удачу не как высший промысел... но как аналог неисчерпаемости электрона. Мы заблуждались. Богу все можно. Бог грозился понадевать детей из камней... Чудо и промысел в том, что и вы не бесплодны. Но такая ничтожная отдача не окупает затрат, – голос профессора изменился; показалось, будто Илья Иванович чем-то давится. На самом деле он просто оттеснялся на задворки следующим оратором.

Жаркий втянул в себя фрагменты профессорского лица, встопорщились усики. Ягода взял слово. Воздух вокруг него дрожал, как нагретый, как будто жаркий принес из мест, где обитал и где получил свое прозвище, изрядную порцию невидимого и покуда холодного пламени. Он разлепил запекшиеся губы и сказал:

– В конце концов советское правительство решило ковать обезьянолюдей иными средствами, мало относящимися собственно к биологии. Поэтому вы остались наперечет...

Неизвестно почему, но именно это замечание покончило с колебаниями Ййтера.

Он почти физически ощутил, как его собственное, злополучное правое полушарие, предмет интереса многочисленных ученых и секретных сотрудников, разом вскипело, подобное молоку, которое долго терпело и хмурилось пенкой.

Жаркий пошатнулся и замолчал. Он поднял одну из рук, заслоняясь от ударной волны, преодолевшей неуловимую грань между материей и духом. Другие руки, помедлив, взлетели не то от восторга, вызванного долгожданным – пускай и неблагоприятным – решением, не то от ужаса, в попытке создать противовес и отпрянуть. Луначарский вытаращил глаз, и монокль выпал, но не упал, а просто повис в воздухе. Другая половина их общего с Ягодой лица искажилась и заплакала крупными слезами; те мгновенно испарялись, образуя уродливую паровую карикатуру на нимб.

Ййтер-Лебединов стоял перед ним не шевелясь, с чуть наклоненной головой. Он глядел исподлобья, и на лбу вздувалась огромная вена, похожая на латинскую букву «игрек».

Йохо Фалуев, взиравший на все это с оторопелым восхищением, спохватился:

– Стой! мы еще не знаем...

Но было поздно.

Жаркий лопнул и разъехался на тысячу мелочей. Они повисли в воздухе, как и монокль, и жаркий уподобился картинке-паззлу, которую встряхнули. Ненастоящие дружно ахнули, и Оффченко, не поднимавший глаз – громче всех. Они увидели, что Суд начался. Они не ахали,

когда рассудили Антонио, понимая, что тот – всего-навсего пробный камень, а успешная процедура не явилась следствием вполне осознанного и целенаправленного акта. Теперь все устроилось, и та вечность, что покуда была им знакома, оказалась чем-то иным, тогда как настоящая вечность только приоткрывалась и означала, как и положено, либо блаженство, либо погибель. На усмотрение чрезвычайной тройки под неформальным, но в то же время неоспоримым председательством Йохо.

Фрагменты жаркого побледнели. С ними творилось нечто не поддававшееся описанию: они одновременно и таяли, и удалялись в бесконечную даль, но в размерах не уменьшались, оставалось совершенно неясным, откуда бралось это впечатление об их удалении. На какой-то миг Йохо сумел собрать воедино осколки двойного лица и мог поклясться, что там нарисовалось ликование. Это было неприятно. Меньше всего на свете ему хотелось доставить жаркому удовольствие.

«Наверное, – решил Йохо Фалуев, – ему настолько обрыдло горение, что он радуется любой перемене. Он готов пойти куда угодно, даже в ад. Ну, ничего. Мы и про ад со временем узнаем. Явимся туда и добавим; воткнем еще, потом еще воткнем».

Яйтер-Лебединов, рассудивший жаркого своими силами, глядел себе под ноги, которые все еще были широко расставлены, и тяжело дышал. Мстительное бешенство разгоралось в нем пламенем, занявшимся от того же источника, что еще недавно палил обидчика. Сейчас ему было ясно, что он не справится один, что лучше в таких делах соображать на троих, и Яйтер позавидовал Йохо, которому досталось больше смекалки, чем Зейде и ему самому. Не иначе, как благодаря любви, переполнявшей его совестливого папашу. Себя он считал нежеланным ребенком, не говоря уже о Зейде.

Зейда Двоеборова, плохо умевшая сосредотачиваться на объектах и событиях, числом превосходивших два, коротко крикнула с постели, занятая своим животом. И это был первый раз, когда Яйтер не обратил на нее внимания и не бросился к ней.

4

С этого момента он изменился необратимо. Что-то перекошилось в нем, и левое полушарие потонуло в крови, которую правое нагнетало толчками, волнами, валами.

Шатаясь, как во хмелю, Яйтер косолапил по комнате, хватаясь за всевозможную утварь, цепляя обрывки древних обоев, свисавшие со стен предсмертными, стариковскими языками. Ненастоящие почтительно расступались; их было чересчур много для достаточной материализации, и он не мог причинить им вреда простым физическим перемещением в пространстве.

В нем сразу, вся целиком, проступила материнская линия. Челюсть выдвинулась, руки, и без того длинные, казались какими-то особенно вытянутыми; они, когда ничего не хватали, висели в опасной и обманчивой расслабленности. Куртка болталась, как на цирковом клоуне; штаны съехали, и Яйтер поминутно наступал на них ногами, которые колесообразно разошлись; приплюснутый нос шумно, всхрапывая, втягивал воздух. И воздух этот успел напитаться ароматом, какой издают опилки, рассыпанные в зоологических садах.

Он больше не пришел в себя, и Йохо далее, щадя собственные силы, распоряжался им как слепым орудием в руках правосудия. В дальнейшем он не раз придерживал Яйтера за плечи, поворачивал мордой к очередному обвиняемому – наводил, как гиперboloид, и суд был скор.

Однако сейчас, когда трансформация только-только произошла, Йохо забился в угол, ведя себя на манер самца, потерпевшего поражение от особи более крупной и сильной. Яйтер ходил и метил шагами территорию. Зейда, почуяв скверное, длинно завывала, и Яйтер награждал ее увесистой оплеухой.

Оффченко, так ни слова и не сказав, все еще шатался, когда Яйтер остановился перед ним.

Куратор забился, как будто его подключили к источнику высокого напряжения. Он упорно не поднимал глаз, и только лоб страдальчески наморщился, как будто Оффченко старался оживить в памяти бурное и досрочное истечение полномочий, случившееся у него еще в бытность человеком.

– Смерть, – слово вывалилось из рта Яйтера, словно булыжник.

И Оффченко пропал.

– Теперь нигде, – сказал Яйтер. – Теперь нигде. Нигде. Нигде.

Он упер руки в боки и пошел, то припадая на одну ногу, то молодецки выбрасывая следующую. У него сделалось совсем тупое, без тени эмоций лицо. Он описывал круги, периодически приседая, и Зейда следила за ним с постели, разинув рот и в страхе прижав к лицу растопыренную пятерню. Йохо стряхнул с себя морок, в котором казался себе наказанным за самоуверенность и самоуправство. Ни слова не говоря, он вырос перед Яйтером, запустил в шевелюру пальцы, взъерошил волосы, округлил губы. Яйтер натолкнулся на него, чуть отступил и стал плясать не то камаринского, не то барыню. Йохо подбочился и начал копировать его движения, обернувшись живым зеркалом. Они смотрели друг другу в глаза, одинаково помертвевшие. Разница была лишь в том, что у Яйтера они подернулись пленкой, как бы схваченные прозрачным клеем, а у Йохо ненатурально сверкали хромом, как не бывает в живой природе.

Они отплясывали в полной тишине, напоминая помирившихся на токовище глухарей.

Потом тишину растревожил шепот, сперва неуверенный. Но он усиливался.

Ненастоящие пели судьям осанну. Судьи наследовали людям и намеревались вершить разбор.

...Яйтер-Лебединов, когда услышал донесшийся снизу шум, переросший в осторожные шаги, представил себе мертвого мотылька, обернутого саваном паутины. Дело стронулось с места, и первый мотылек бездумно летел на свет не вечерний.

5

Местный участковый проходил мимо дома культуры десятки раз на дню и не раз замечал в нем признаки осторожной жизни. Всех бомжей, которые там обитали, он знал поименно: Нестор, Гагарин, Натоптыш, бывшая медсестра Олег, за годы скитаний лишившаяся четкой половой и видовой принадлежности, и многие другие, тоже ему отлично знакомые. Подчиняясь причудливым социальным хитросплетениям, этот народец постоянно мигрировал, как перелетные птицы с подбитыми крыльями, неспособные улететь за городскую черту. И лейтенант не стал бы задерживаться и выяснять, откуда взялся тонкий, игольчатый лучик света – испущенный темной глубиной здания, пробившийся сквозь изоляцию, налаженную Йохо. Когда бы не то обстоятельство, что Нестор, негласный предводитель этой малой и в целом анархической общины, был встречен им недавно совсем в другом ареале обитания. Нестор, как обычно, собирал бутылки, как будто это были поздние, уже зимние грибы: вооружившись длинной палкой и почесываясь под толстой шапочкой, которую никогда не снимал, он ворошил заснеженную палую листву, ступая заинтересованно и мелко. Поиски велись в парке, и в этом тоже не было ничего особенного, не заметь участковый проплешины от костра и нескольких гнилых бревен, специально приволоченных в качестве мебели.

«Переехал, мыслитель?» – лейтенант остановился. Нестор слыл философом и созерцателем.

Нестор приобнял палку и тоже стал, опираясь на нее всем грузом.

«Погнали нас», – молвил он строго. Строгость адресовалась не милиционеру, а собственным словам. Нестор полагал событием любое сотрясение эфира, к которому относился с почтением.

Мало ли, кто их погнал и почему. Тараканы разбираются с блохами.

Участковый уже занес ногу, чтобы шагнуть и продолжить путь, но машинально спросил: «Лесопарковые?»

И хотел идти дальше, не дослушав. Лесопарк едва ли не примыкал к дому культуры, и нечего было удивляться желанию тамошних жителей перебраться под крышу с наступлением холодов.

Но Нестор ответил, что нет, это не лесопарковые.

И лейтенант, получалось, решил свою судьбу сам, когда вознамерился продолжить допрос, а Йохо с Яйтером оказывались будто и не при чем. А может быть, ее решил своим ответом Нестор – все зависит от точки отсчета и, конечно, согласия в понятиях: что именно называть решением судьбы и от которой палки плясать.

Информация обязывала. Выяснилось, что Нестор употребил гонителей во множественном числе иносказательно, подразумевая враждебную деятельность многих сил, которые договорились между собой действовать против него, Нестора. На самом же деле чужак был один, отталкивающей наружности, с гривой седых волос.

«Что за корочки он показал?» – осведомился лейтенант.

Нестор уронил посох и ошеломленно развел руками. Нет, он никогда не читает, что написано в корочках.

Милиционер немного постоял, размышляя. Корочками мог пригрозить кто угодно, от генерала госбезопасности до трамвайного контролера. Дело не такое уж редкое, и лейтенанту-замухрышке не стоит вникать в интересы, скажем, спецслужб, которым за каким-то бесом вдруг понадобилось пустынное здание.

И он пошел по своим делам, не простившись с Нестором.

Смирная жалоба вспомнилась, когда сверкнул тот самый пронзительный лучик. Участковый остановился, заложил руки с папкой из кожаного материала за спину и долго рассматривал черные окна. В большинстве были выбиты стекла, но то, где горел свет, неизвестные жильцы заколотили фанерой и даже, насколько позволяла, скорее, интуиция, нежели кошачье зрение лейтенанта, законопатили, оставив по небрежности лишь маленькую щелку или дырку, и вот через нее и сочилось желтое электричество. Было совершенно непонятно, откуда оно тут взялось, в этом покинутом храме балалаечников и духовых оркестрантов. Обычно лейтенант, едва заметив что-то непонятное, не медлил ни секунды, а сразу, решительно толкал рукой или ногой очередную дверь, большей частью поганого свойства – грязную, покосившуюся, изгвозданную ногами, и заходил внутрь, держа наготове одно из пяти-шести банальных обращений. Приветствий среди них не было. Но сейчас он топтался и мялся, не решаясь протолкнуться в проем, сооруженный некогда вместе с самим забором. Дитер и Мартин стояли перед участковым столбами, и он их, конечно, не видел. Они напряглись и лезли из своих легких эфирных кож, чтобы выполнить распоряжение Йохо и не допустить в строение любопытных. Они создавали вокруг себя негостеприимное поле, которого, однако, не хватало для успешного сдерживания лейтенанта. И он, решившись, полез в проем, и проломил телесами одну третью часть Дитера и три четвертых части Мартина, но те не почувствовали боли. Когда лейтенант очутился на запретной территории, они уже полностью восстановили структуру и форму и продолжали стоять, заступая проем, ибо никто не снимал их с поста.

Двумя минутами позже участковый, припорошенный не то пылью, не то известкой, не то снегом, предстал перед судом, но не в качестве обвиняемого, а будучи пока лишь нежеланным свидетелем. Йохо отреагировал автоматически: повалил его и зарезал кухонным ножом.

6

Лейтенант не успел ничего понять. Он застал странную картину: в дальнем углу, на старой кровати с прогнувшимися и ржавыми прутьями, под ворохом тряпья, лежала какая-то желтоватая образина. Живот вздымался горой; лежащей было худо, она зажимала руками рот. Над образиной навис, шатаясь, налысо бритый тип, до невозможности отталкивающего вида, очень похожий на гориллу. Казалось, он не знал, чем себя занять – шарил глазами по образине, по малиновому полушарию одеяла, откуда клочьями лезла вата; по стенам, расписанным нецензурными словами; бритоголовый размахивал руками, как будто беседовал сам с собой, но ни на чем не мог сосредоточиться.

Удивительнее всех вел себя третий – гривастый, крепкий старик с длинными руками. Он расхаживал по комнате и что-то произносил в пустоту, беседовал с кем-то невидимым. При виде милиции он замер на полуслове, а дальше действовал проворно и без колебаний. Участковый отпрянул, не удержался на ногах, упал; старик, уже вооруженный, оседлал его, сверкая огромными золотыми зубами.

Краем глаза, уже погибая, лейтенант заметил, что бритоголовый отвернулся от брюхатой уродины и безучастно созерцает грязный пол – на что он смотрел? на кровь, что струилась кривой ленточкой и расплзлась в лужу, – догадался участковый и как-то сразу успокоился, и умер с тем, чтобы минутой позже увидеть прежнюю картину, но уже затуманенную, подернутую серой дымкой. Он стоял и недоумевающе переводил взгляд с собственного тела, притихшего с подвернутой ногой на полу, на незнакомых, причудливо одетых людей, которых в комнате вдруг собралась целая толпа. Все чувства участкового обострились; он ловил и запахи, которых раньше не различал, и звуки из категорий инфра и ультра, и даже какие-то волны. Седой, выделявшийся из толпы особенной объемностью и рельефностью, наподдал окровавленный нож, чтобы тот лег поближе к трупам, деловито утерся рукавом и с долей сочувствия посмотрел участковому в глаза.

– Прости меня, служивый, – сказал Фалуев. – Тебе не повезло, ты оказался где не надо.

Лейтенант подавленно молчал, уже обо всем догадавшись, уже понимая, что беседы в обычном режиме, с требованием предъявить документы и следовать к выходу, не будет.

– Ты пострадал, – продолжил Фалуев, немного помедлив. – Но за это ты будешь вознагражден. Яйтер! – Он повернулся к бритому. Тот послушно, слегка шатаясь, протопал ближе и остановился, сверля участкового безжизненным взором. Глаза у Лебединова стали как у ненастоящих, которых предстояло судить.

Разноголосица смолкла. Близилось что-то важное, решающее. Внезапно лейтенант понял, что вся его посмертная судьба зависит от воли этого безумного неандертальца.

Фалуев объяснил Лебединову:

– Теперь мы будем убивать живых.

Лебединов кивнул, ничего не имея против. Фалуев продолжил:

– Сначала наступит первая смерть, а потом вторая. Или вторая жизнь. Определи товарища офицера. Он не делал нам зла и заслуживает помилования.

– Не сделал? – подозрительно переспросил Лебединов. – Не успел?

Лейтенант догадался, что сейчас будет страшное, и по старой земной привычке закрыл руками лицо.

– Главное, что не сделал, – настаивал Фалуев.

– Но хотел, – Лебединов не уступал ему и не сводил с участкового глаз.

– Давай у них спросим! – Фалуеву хотелось справедливости. Он повернулся и театральным жестом указал на ненастоящих, одновременно приглашая их высказаться. Но те почти молчали и даже подрагивали, нервно и трепетно, а Павел Андреевич даже забылся

и шарил по карманам в поисках сигарет и спичек. Тогда Фалуев перевел взгляд на Зейду, но Зейду мутило, она полностью отрешилась от происходящего и оставалась внимательной лишь к внутренним симбиотическим процессам.

Лебединов ждал. Йохо знал, что прецедент ляжет в основу всего последующего, уже массового разбирательства. Он был уверен, что лейтенанта надо пощадить, ибо чувствовал некоторые угрызения совести. Но в то же время он понимал максималистскую логику Яйтера, судившего помыслы, которые приравнивались к реальному деянию. Взгляд Фалуева упал на колоду карт, в суе и неразберихе прихваченную с остальными пожитками.

– Пусть нас рассудит Бог, – предложил Йохо Фалуев. – Или случай, это одно и то же. Сыграем? Если моя возьмет, он полетит к ангелам, если твоя – отправится к чертям.

– Там нет чертей, – пролепетал лейтенант, уже немного разбавившийся в закулисном мироустройстве. – Там хуже, там нет ничего. – Перспектива окончательного небытия ужасала его настолько, что он даже осмелился подать голос.

– Ну да, разумеется, – небрежно подхватил Фалуев. – Черти здесь. Ну же, старина! – поторопил он Лебединова. – Одну партию.

Тот глубоко вздохнул, уставился на колоду.

– В дурака, – глухо сказал Лебединов.

– Ну не в покер же, – оскалился председатель суда. Он подошел к столу, смахнул с него бытовую дребедень, подцепил и придвинул стулья. – Играем на офицера, отличника боевой и политической подготовки, – громко объявил Фалуев. – Попрошу свидетелей подойти поближе.

Ненастоящих не пришлось просить дважды. Они заключили стол в тройное кольцо – настолько их стало больше, а между тем из подполья вырастали новые, и новые свешивались с потолка, подобно летучим мышам, и выходили из стен, и выползали из-под ложа, на котором грузно ворочалась Зейда, забывшаяся липким сном.

За окном начиналась вьюга. Глубокие следы, оставленные лейтенантом, заносило снегом, как будто они тоже переставали принадлежать земному миру и, мельчая, цепочкой утягивались в сопредельные миры.

Фалуев и Лебединов сели друг против друга. Колода легла на стол, и оба с непонятным для себя беспокойством обратили внимание, что сукно, его покрывавшее – зеленого цвета, очень старое, но добротное. Чего-то не хватало; художественное чутье на миг возобладало в Лебединове, заставив его пошарить глазами в поисках светильника. Зацепиться было не за что: все казалось корявым и ненадежным. Толстые пальцы Фалуева прогнули колоду, щелкнули ею, наподдали – верхняя половина чуть съехала, как будто предлагала себя его визави. Ненастоящие подошли ближе, столпились и заглядывали через плечи, и смерть, воплощенная в призраках, металась против обыкновения, не находя себе места ни за левым плечом, ни за правым.

– Сдавайте, – пригласил Фалуев, непроизвольно переходя на «вы». Зеленое сукно чем-то располагало к изысканности.

Лебединов механически разбросал карты, выдернул козырь: пиковую девятку.

– Вини винями, – напомнил он, но по тону было видно, что ему все равно и он занят какими-то посторонними мыслями.

– В подкидного, Лебединов, – поморщился второй игрок. – Переводного я не люблю. Уважите?

– Извольте, – тот, как бы ни был погружен в свое, сокровенное, не мог не удивиться этому слову, которого раньше не то что не употреблял, но даже не вспоминал.

– Шестерка, – Фалуев сбросил семерку бубен и откинулся на спинку стула. В комнате было смертельно тихо.

Лебединов отбился; оба взяли по карте. Прошелестело: «на кон, на кон» – двое ненастоящих, которых прежде никто не видел, толкали милиционера к столу. Фалуев махнул рукой:

– Убрать. На стол его, что ли? Может быть, он еще и спляшет?

Лейтенанта втянули обратно.

Лебединов безропотно принял семь карт и держал образовавшийся веер не без грубого изыщества.

– Туз, – объявил Фалуев, хотя все и так видели, что туз.

Козырная восьмерка впилась в червонное сердце черными паучьими ножками.

– Бито – браво, Лебединов! – тот достал папиросу и запрокинулся вновь, ожидая лакейского огня; спичка так и не появилась, и Фалуев закурил самостоятельно. Дым разлегся рыхлым пластом.

– Дайте ему вальта, – прошептал кто-то над ухом. Лебединов послушно выбросил вальта, потом еще одного, и еще, и противник принял. Колода истончалась; лейтенант уже не вполне стоял, но сидел на корточках, смятый и стиснутый со всех сторон; некоторые без стеснения взбирались прямо на него, чтобы лучше видеть. Правые полушария игроков были заняты картами, что не шло на пользу материализации: привидения продолжали прибывать, и многие ничего не весили, висели ничком над столом, над ленивыми дымными облаками, и заглядывали в карты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.